

1990 № 3 (39)

МАРТ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЕЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» [«РОДНИК»] ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Мирдза Бендрупе.
«Баллада Вальпургиевой ночи» (9)
Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (10)
Андрей Сергеев. «Изгнание бесов» (20)
Игорь Юганов. Стихи (24)
Лидия Гинзбург. «Записи разных лет» (26)

КУЛЬТУРА

Виктор Гравитис.
«Хорошо забытое старое» (31)
Антоний Мархель.
«Too Sharp to make a noise only» (37)
Ирена Бужинска.
«Первая, самая большая в мире» (45)
Фотоакция Андриса Гринбергса (46)

ПУБЛИЦИСТИКА

Димитрий Левицкий. «Национальность жертв не существенна для коммунистической власти . . .» (52)
«Рассказ гренадера» (60)
Александр Казаков.
Иван Александрович Ильин (68)
Иван Ильин. «О творческом правосознании», «О государстве» (69)

ЛИТЕРАТУРА

Аманда Айзпуриете и Иосиф Бродский (72)
Иосиф Бродский. «Что до тирании . . .» (74)
Виктор Куллэ. «Обретший речи дар в глухонемой вселенной . . .» (77)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

АЙВАРС ТАРВИДС

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

По дороге в коридоре встретился анестезиолог Миша, он поведал, что приехал сам Стефанович на военном транспортном самолете, прихватив с собой чемодан лекарств и молоденькую любовницу. Вместо ответа Арнольд посоветовал ему догнать высокого гостя, чтобы поупражняться в иврите. Так они шагали гурьбой по закрытой галерее к представительским апартаментам больницы, в кабинет главврача с гипсовым бюстом, столом для заседаний в тени пальм и бутылкой коньяка в шкафу. Впервые в жизни Арнольд пил, подгоняемый столь высоким начальством, тост был за здоровье дорогого Ефима Самуиловича, а коньяк...

... а коньяк приятно ударял в слизистую глотки. Арнольд взболтнул фляжку и улегся поудобнее. Он вспомнил лето, когда швы у актера хорошо заживали, осложнений не было и на загорелом лице жены больного все чаще появлялась радостная улыбка. Текли чудесные недели, наполненные театральными спектаклями, гостиничными «люксами», брудершафтом и затянутыми в постель статистками академической труппы. Стефанович, облачившись в халат, показывал ему, какие серьги он купил жене в комиссионке, и предлагал Арнольду поехать заработать валюту в кабульском госпитале. Тот отказался, потому что был молод и глуп, не хотел получить пулю ни как офицер медицинской службы, ни как русский штатский. А надо бы, ведь война — это рай для хирурга...

Теперь, теряя советское подданство, можно признать, что предначертанный ему жизненный путь он сам своими руками рассек несколькими ловкими движениями скальпелем, и стороны света перемешались в глазах. Нашлось место в онкологической клинике и возможность стажироваться в Москве. Даже успешно сданный кандидатский минимум. Экзамены совпали с трудным для отечества временем, когда государственные деятели дошли как мухи, и ни у кого не было ясности о постулатах научного коммунизма, а политэкономия рухнула как в хозяйстве, так и в головках преподавателей. Актер Сафронов давно поправился, мог играть Тартюфа и доказал, что у него еще жив унаследованный от матери, столь характерный для евреев ген благодарности, теперь артист для Арнольда был просто Славиком, а вместе с ним стали доступны все блага цитадели коммунизма, обычно добываемые за американские доллары. Еще Арнольду удалось побывать у нейтралов в Скандинавии, походить по тамошним клиникам, а в последний день, когда вся группа прочесывала супермаркеты по случаю весенней распродажи, он удрал от нее и долго-долго стоял перед полицейским комиссариатом, все же не смог собраться с духом, преодолеть страх и смиренно заполнил таможенные предписания, чтобы пересечь государственную границу. Домой он привез теннисную ракетку, под ее гордое сверкание мячик носился через красную площадку в тени сосен. Партнеры были разные. Фанатики игры, тратившие всю зарплату на мячи. Стремящиеся быть современными доморощенные деятели мафии, упитанные господа, ведущие здоровый образ жизни. Арнольд злорадно посылал мяч с конечной линии в дальние углы корта, заместитель

министра, такой приветливый и любезный, старался перехватить удары, и в его холеных бакенбардах собирались капли пота. А Стефанович проповедовал, что в государстве ожидаются разруха и гражданская война, и, похоронив жену, чья жизнь угасла, как выключенная равнодушной рукой лампочка в уборной, начал собираться в эмиграцию. Видно, предчувствовал что-то неладное, потому что после инфаркта бросил квартиру на Кутузовском проспекте, кафедр, нажитое за десятки лет имущество и имя. В конце концов, веками боязнь погромов была у евреев вместо шестого чувства, к тому же не хотелось, ой как не хотелось остаться в живых последнему из своей семьи в России. Отъезд пришлось на осень, за несколько недель до Рождества, когда Арнольд был в Москве, он хотел хоть разок побывать на настоящем концерте рок-музыки, о котором мечтал еще в молодости, когда волосы до плеч и пластинки были свободно конвертируемы. Вместо ожидавшейся эйфории — на сцене Дворца спорта в свете юпитеров лениво поворачивались уже немолодые, усталые звезды, и большинство публики, как на первомайской демонстрации, составляли товарищи, кому обычно резервируют места в ложе для почетных гостей. Так что в ушах гремели западные децибелы, публика вежливо хлопала, а вечером профессор Стефанович жаловался, как глупо и бездарно прожита жизнь. Видно, легче всего плакаться перед чужестранцем и провинциалом, которого помнишь еще сопляком. Мальчонке однажды был брошен спасательный круг с корабля грез, утопающий оказался цепким и вскарабкался на борт. В тот вечер Стефанович не походил ни на лейб-медика, ни на библейского пророка. По ту сторону стола сидел пожилой слюнвявый еврей, отец которого нашел казенную смерть в массовой могиле гулага и устроенного дееспособными наследниками его соплеменника, сын — подающий надежды специалист по компьютерам в Силиконовой долине в Калифорнии, а дочь зятек обеспечивает на дивиденды от частной галереи в Нью-Йорке. Арнольд лениво его утешал, предлагая встретиться через несколько лет на площади Бастилии в день, когда мир будет праздновать два круглых столетия великой революции. По поводу *Октября* ликовать нечего, добавил Арнольд, как-никак, большевики разорили и моих предков. И Арнольд рассказал о своей бабушке, благой воспитаннице петроградской гимназии, которой в начале апреля не хватило ума сходить к Финляндскому вокзалу, чтобы прослушать произнесенную с броневика речь, увенчанную призывом к социалистической революции. О бабушке, которой на финише жизни рушащийся мир чуть ли не силой навязывал персональную пенсию, о бабушке...

... о бабушке, которая лежала в гробу на подиуме, и бесшумные звуки «Ave Maria» наполняли кладбищенскую часовню. Подгоняемый мечущимися огоньками, медленно стекал по белым свечам парафин, цветов было маловато, а дешевый гробик смахивал на тарный ящик. Бабушка пережила своих подруг, вокруг гроба стояли провожающие — родственники и знакомые семьи. Умудрившиеся с годами постареть и одряхлеть. Настоящую бурю восторга у этих подружек матери раньше вызывали усердие Арнольда и ямочка от улыбки на щеке, когда он с приветие

(Продолжение. Нач. в № 8. 1989)

наше здоровье с ними и шаркал ногой. Маленький, милый, светловолосый мальчик, ну прямо ангелочек! . . . Подобный восторг вызывали и его поведение за столом, успешно оконченные школа и институт, принявший его в свое лоно. Ну, молодец, улыбались родственники, хлопали по плечу старые френды и лыбились те, кому осенью надо было покупать чемодан и бежать к цирюльнику, чтобы вместе с прыщавыми хулиганами и неудачниками других пород по покрытому инеем шоссе отправиться выполнять святой гражданский долг. Эх, надо бы продолжать шаркать ножкой, думал он в сопровождении траурной музыки, чем бы сейчас было плохо . . . Ох, возвышенные идеи, прививаемые мне с детства, слова, слова, целое море слов, оно не помогает жить, зато годится, чтобы топить здравый смысл, как щенка . . . Именно прививаемые, повторил Арнольд, какой только дрянью я не напичкан. Уступайте место старшим пассажирам, не ломайте верхушку у дерева, не будет расти, удовлетворение важнее денег, все дороги открыты, любовь — золотой мост, руки труда не боятся, внуки Ильича, после уборной надо мыть руки . . . Тем временем перед публикой появилась отпевала. В руках блокнотик с биографическими данными, на языке строки скорбных стихов. О белой, ушедшей на тот свет мамочке отпевала говорила торопливо, ведь за дверью толпились люди, похоже, что конвейер смерти в тот день несколько задержался и нужно было до темноты успеть всех запланированных покойников поместить в родную землю. Упомянулись трудолюбие покойной, тяжелая жизнь, дети, внуки и правнуки. Что-то напутала, что-то добавила из букета речей стандартных похорон. Арнольд не слушал, он держал букет роз, и пальцы беречь было не надо, потому что шипы он предусмотрительно срезал бритвой. Уместно было бы поржать над собственным суеверием перед смертью, цветы он в обед купил на рынке и, отправляясь на кладбище, оставил в вазах надаренные герберы, розы и фрезии. Пустым взглядом Арнольд смотрел на белый саван и вспоминал солнечную молодость, когда в моде была марля и упругие девицы, посмеиваясь над старозаветными предрассудками, неслись в похоронный магазин покупать эти дешевые куски марли, перекрашивая и тонируя которые, они по выкройкам из «Бурды» шили пышные-препyszные летние платья. Зелье воображения не помогало, тщетно он старался представить пляж, загорелые тела и развеваемые соленым ветром одежды. Взгляд все время останавливался на лице бабушки. Обтянутый желтой, ссохшейся кожей череп, пряди редких седых волос. Приоткрытый рот, из него виднеются рыхлые десны. Все тело свежилось невообразимо, а ножки, когда он клал в гроб цветы, показались ему тоненькими, как палки.

Изуродованное рукой смерти лицо. Об этой роже не скажешь, что уснула вечным сном. Губы еще полны мук агонии, последних стонов и хрипов . . .

Неужели было жалко пятидесяти рублей, дерьмовых пятидесяти рублей, чтобы набросить санитарам морга? Неужели нужно показывать живым открытый рот, из которого вырваны золотые мосты? Даже платок на голове покойницы никто-никто не догадался повязать . . .

А отпевала декламировала народные песни, их четверостишия в ритме вальса разбегались в холодном воздухе часовни. В щель приоткрытой двери были видны ожидающие в соседнем помещении гробы. Один был обтянут красной тканью, служительница, толстая тетка в ватнике и войлочных ботинках, крутилась рядом и что-то жевала. Наверно, печенье. За спиной кашлял и с размахом сморкался простуженный участник похорон, а в углу на деревянной подставке крышка гроба ожидала момента, когда она наконец займет свое настоящее место, обе половинки соединятся на веки вечные, чтобы на плечах четырех (чего там нести) мужиков начать путь через кладбище к выщарпанной в окаменевшем песке могилы. Церемония продолжалась, и февраль, просачиваясь сквозь каменные плитки и тонкие подметки, лез в тело, как зараза, подкрадывался к сердцу и холодил, Арнольд почуствовал, как мелкая, противная дрожь пробежала по всем щекам и вцепилась в правый уголок губ.

У нее было крепкое сердце. Она никогда не жаловалась на сердце. Не знала, что такое валокордин в стакане и нитроглицерин под языком. Проклятие, когда сердце оказывается самым крепким. Опухоль лениво разрастается в старческих внутренностях, понемногу, смакуя, пьет жизненные силы, перекусывает органы, как осажденные крепости. Мозг бесится от боли, а сердце упрямо бьется. И не собирается уgomониться. До последнего выполняет обязанность жить . . .

Здесь на лекарства не тратились. И не подумали платить «скорой» по десятке за дозу промедола. За спасибо они пальцем не шевельнут, давно известно. Живые, конечно, утверждали бы противоположное, божились бы, что сделали все, больной всего было вдоволь, доктора ходили один за другим, сидели сиделки. А рот, приоткрытый, как у погибшей в массовой бойне, свидетельствует об ином. Истина ясна, даже золото из челюстей вытаскивали своими силами, плоскогубцами, столь нужными в семейном обиходе . . .

Надо было съездить, навестить. С ума сойти, три года уже прошло. Брежнев еще дышал, когда виделась. Надо было навестить, хотя и мало удовольствия встретить старческое слабоумие. Не тот полный злости, желчный маразм, когда сквозь помутневшие глаза в обывательский мозг проникают одни подлецы и отравители, клеветники, охотники до чужого добра и воришки. Не злое, а доброкачественное. Тихое и всепрощающее. Настоящую иллюстрацию философским фокусам русского исполина, утверждающего, что злу нельзя сопротивляться, правильнее и человечнее подставлять другую щеку последней оплеухе. Надо было навестить, чтобы увидеть старость, как в бальзаковских романах, несчастье и нищету. Холод — уголь надо экономить. Горький чаек, потому как сахар — белая смерть. Жизнь, разбитую на кусочки вместе с остатками фарфорового сердца, розданную вместе с золотыми украшениями и пятилатовиками, переписанную на наследников вместе с домом. Старость, пахнущую потом, поношенными тряпками и затхлым воздухом. Старость, обвиняющую каждый новый восход солнца в сознании бременем для живых, для этих любимых деток, надеющихся дожить до третьего тысячелетия после рождества Христова . . .

Надо было взять к себе. Ухаживать и заботиться? Прекрасные, полные милосердия и ханжества слова. Мне пятилатовики и капитальный ремонт дома не перепали. Выделенную мне чашечку от Кузнецова или Мейсена я разбил еще в пубертатный период. Уж не я должен был покупать молочко и теплые тапочки. На этом перекошенном рте навеки застыл упрек мне, единственному, как оказалось, кто должен был вытянуть в шприц смертельный коктейль и воткнуть его в вену. Без возни и спиртования, без рассуждений и нытья закрыть глаза, чтобы подвести черту. Только и всего . . .

Провожаящая заговорила о последней дороге туда, откуда нет возврата, гроб закрыли, за дверьми встретило тусклое послеобеденное солнышко и звон колоколов. Вдоль дорожки были посыпаны еловые веточки, предвещая близкую оттепель, по насту враскачку прогуливались вороны, и, ступая по кладбищенским тропинкам, туфли быстро набились снегом. Еще оставалось несколько стишков, три горсти песка, натренированные, автоматические движения могильщиков, возложение цветов и отказ от участия в поминках.

К воротам Арнольд чуть ли не бежал по вымершим дорожкам кладбища, на стоянке долго не мог завести двигатель, потом, проклиная все на свете, ждал, пока он разогреется, пока, наконец-то, вздымая колесами вихри снега, соли и песка, не погнал свой «жигуль» по улицам, чтобы дрожащей рукой схватить рюмочку, опустошить, еще раз налить, вылакаты, отдышаться и разыскать в кармане курево. Арнольд успел забыть заплаканное лицо матери, одиноко стоявшей у изголовья гроба, шепелявый голос отчима, приглашающего продолжить выпивку и поминание, сводного брата с его курткой и взглядом мелкого стукана в районе валютного магазина. Где-то на приборной панели бесновалась стрелка спидометра, в магнитофоне гремело

соло на барабанах, а Арнольд думал о собственной жестокости, которая, подобно далекой, страшной планете, очертив круг длиною в год, притащится назад, неумолимо приблизится, и ему тоже придется в одиночестве и заброшенности валяться в темном углу, выпрашивая у голых стен наркотики или шиббер, проклинать выносливость сердца, хрипеть, рвать, трястись в конвульсиях и в просветлениях ждать избавления.

За ветровым стеклом мимо скользил город; единственное, что он видел, это зажженный на перекрестках красный свет . . .

. . . красный свет моргал в далеком светофоре. Вокруг темень и темень, а поезд еле двигался. Пусть едет осторожно, теперь чуть ли не в каждой российской губернии эшелоны сталкиваются носами, слетают с рельс или взрываются, как пороховые бочки. Арнольд довольно четко представил себе стрелочника в рваном ватнике и форменной фуражке, который по пьянке заварил бы кашу; авария, настоящая авария с соболезнованием правительства близким в газетах и публичными осуждениями козлов отпущения, а его самого команда спасателей через сколько-то часов вырезала бы автогенем из остатков вагона. Воспитывая верных и надежных приспешников, система обрекла себя на зависимость от надежности опоры покорности. Алкоголизм, лень и равнодушие, эти три стойких, прирученных к русскому морозу опорных слова, позволяющих спокойно спать начальникам службы безопасности всех рангов и наносящих гораздо больший вред, чем смогли бы тысячи десантированных в глубь страны тщательно обученных и до зубов вооруженных отрядов диверсантов. И именно темный тупой человек превратился в слепое, заряженное социализмом орудие мести за дарованные народу и Европе свободу и равенство, тихий и смиренный, своим бездействием он воздавал за зверства и несправедливости, брал реванш за искалеченные поколения, которые с пионерским салютом шагали, шагают и будут шагать в небытие.

А колеса поезда завертелись проворнее. Скорый поезд Рига — Берлин. Таким однажды отправилась в путешествие бабушка. Какие-то тридцать лет, молодая и красивая, настоящая дама. Ее отца, немецкого колониста, владельца корчмы и лесопилки, скопил в восемнадцатом году тиф, брата отца, доброго петроградского дядю, большевики, стоя у колыбели революции и перестирывая пеленки прошлого, хладнокровно пустили в расход, а текстильную фабрику на Васильевском острове подвергли отчуждению в пользу трудового народа, мамочка умерла от «испанки», от которой откупиться золотом не удалось. Так что Латвийскую Республику в вагоне беженцев бабушка встретила семейными могилами, руинами родного дома и свободным знанием трех языков. Потом работа барышней на телеграфе, замужество, муж инженер, двое детей — мальчик и девочка. Семейный особняк, дома в Булдури, радиоаппарат «VEF-Lux», туфли от Эглитиса, крем «Nivea» для вечернего туалета. Первый русский год. Президентом министров «Серебряное горлышко». Сестра и ее муж — в Сибирь. В большой комнате храпит офицер НКВД, он работает по ночам, мочится мимо унитаза и не имеет привычки вытирать грязные сапоги. Сапоги русские бабы раскупают дюжинами. Война. Бегут, как крысы. Немецкое время. Красиво маршируют, встреча с цветами, Ордунг, Остланд и бедная еврейка, прекрасная шляпница. Своими глазами видят подвалы на улице Стабу и Зару Мандер в новейшем боевике. Мармелад, карточки, дорога в бомбоубежище, мешок и павший под Волховом сын. Горящая Елгава и сестренка на палубе. Опять красные. Зверства немецких фашистов и освободители. Барахолка, страх всего и подписка на заем. Людей опять загоняют в вагоны для скота, а их не трогают. Муж работает на «кроссе», без телефонизации власть не власть. Дочь, слава богу, студентка, сестра, слава богу, шлет посылки из Вашингтона. Муж умер, родился внук, дом как будто хотят национализировать. Подошла пенсия, дочь разводится, опять выходит замуж, опять рождает.

Телеграмма, наследство из Новой Зеландии, государство ненасытно, но на пеленки все же денежки остаются. Па-

мать одлабла, очки катаракту не лечат, за садом ухаживать трудно. Хорошие дети, слабоумие, трудно за собой ухаживать. Правнук, хорошенький и розовенький, с диатезом. Боль, боль, боль. Доктора. Боль не прекращается. Ну, и агония тоже. Так, наконец! В могиле, у своего Рихарда . . .

А я как? — подумал Арнольд. Грустно. Ни войн, ни революций. Солнце поднимается над крышами домов большое и красное, овчарка Телло умирает от чумки, пес лежит в кухне на столе, пытается вильнуть хвостом, а собачий доктор вот-вот усыпит животное. Космос, спутник, в Москве, оказывается, не говорят по-латышски, убит Джон Фицджеральд Кеннеди, за мукой первого сорта надо три часа отстоять в очереди. Дома новый папа и новая школьная форма. По телевизору показывают Африку, тетя Анна рассказывает про Сибирь, в хоре поют песни о *Родине*. Маленький братик болеет корью, у ребят постарше в карманах картинки с голыми бабами, в пионерлагерях тоже не говорят по-латышски. Комсомольский билет как пропуск в вуз, приходится выучить шесть пунктов программы мира и копить деньги на магнитофон. Свободу Анджеке Дэвис и «Rolling Stones». Напившись, приходится блевать, блевать противно. Отчим часто ездит за границу, наверно, стукач. По ночам вместо «Radio Luxemburg» BBC из Лондона, глушат, задницы, ох как глушат. В моде «Led Zeppe- lip», за игру на танцульке — сотня, иногда пироги и водка вдобавок. Девчонки, тушь на ресницах и возня с крючками на лифчиках. Солженицын на одну ночь, и Солженицын в Цюрихе. Институт, анатомический атлас, стол в анатомичке, латинский язык и история партии. Летом надо разливать пиво иностранным студентам и доказывать, что мы не русские. Первая операция, слепая кишка, у самого ноги ватные, как после наркоза. Торжественная клятва советского врача, потрясающая пьянка, дальше село, много работы, радио там не глушат и танковые колонны режут в афганских горах. Опять Рига, женитьба, бедность, развод, бедность. Другая работа, другая женитьба, и бедность отступает. Правительственные похороны в нескольких сериях, время Горбачева, революция продолжается, обещания тоже. Bravo, президент Рейган! Деньги не помогут, пожизненное заключение в социализме. Накось, выкуси! Взятка, виза, взятка, билет, и — в путь. Все . . . Заключительный аккорд мог бы быть романтичен, как в фильме с поцелуями и нежной музыкой. Железная решетка, засовы на дверях, свинцовые рыла тюремных охранников, роспись в конторской книге, и открываются последние двери. Дальше солнце, озон и воля. На самом деле вместо драматического действия явно бюрократические процедуры, вонючие кабинеты с чиновниками, сейфами и надоедливыми формулярами. Алчные вершители судеб, и последние унижения. Единственное утешение — слава богу, *доступна не имел* . . . А настоящие ворота будут в Бресте, ворота тюрьмы, сидя в которой, мы все, как опухолью, переполнены жестокостью. Терпели строгий режим, хорошо вели себя, теперь заслужили общий, с получениями передач, старт с Запада. Заключение одних гноит, и зародыш трусости превращается в гнойник предательства. В других оно закаливает ненависть, оттачивает, как бритву, злость. Умники полагаются на мозг, считают себя умелыми борцами, которые внешне услужливо гнутся под тяжестью власти, чтобы освободиться от ноши с помощью ее веса. Напрасно, небо по-прежнему в клеточку, надсмотрщиков, как и санитаров в сумасшедшем доме, вербуют из бывших «зеков» или больных. Как соблазнительно хвастать заплаканными платочками. Языческими верованиями и огненными крестами. Языком, который, как сырое яйцо, донесли необшарпанным из Индии. Можно гордиться историей. Этим мучительным самородком покорности и услужливости. Гордиться проклятием смешанной крови или общим падением и подъемом, падением и подъемом. Получать мазохистское наслаждение от того, что, будучи немногочисленными, все же стали детонатором в пока последнем столетии, когда были примерами в игре судеб огромной России. Как соблазнительно плакаться о неотвратимом исчезновении, когда оказываемся не при-

способными к будущему, как рептилии к ледниковому периоду. Как мила надежда, что оставшееся человечество будет рыдать у нашей могилы и сквозь рыдания осознает, что ему нет и не может быть оправдания.

Теперь вниз, по лестнице из известкового туфа, мимо многочисленных плиток «Неизвестный», «Неизвестный», вперед, где лежат кавалеры ордена «Лачплесиса». Еще раз оглядеться вокруг, лезвие ножа выскакивает из черенка, тут же, на краю средней дорожки, разрез в дерне, и в черной ране исчезает потемневший орден с ленточкой национального флага. Дерн закрывается, теперь цветы Матери Латвии, и дорогу домой освещает Вечный огонь вдали... Как мило, как романтично. Бравые всадники, мощные кони. Торжественный покой, честь, слава и долг. Слова, за которые нельзя краснеть, слова, которые не должны застрять в горле, как бутерброд...

... бутерброд был с сыром, и, медленно разжевывая, Арнольд смотрел, как мамин пудель загонял на яблоню соседского кота. Сиамец уцепился за мелкие ветки и, выпучив глаза, шипел, как паровоз. Пес в бессильной злобе прыгал вокруг антоновки и топтал цветочные клумбы. У ворот остановились «жигули», из машины степенно вылез товарищ в кожаном пальто. Арнольд поспешил открыть двери.

Вблизи Валериан Семенович оказался хрупким мужчиной с намякнутыми руками, тихим голосом и пачкой дорогих сигарет в кармане. Арнольд отпер письменный стол и подал гостю старую конфетную коробку. Теперь Валериан Семенович мог осмотреть «Лачплесиса» третьей степени. С лентой, нагрудным знаком и дипломом.

— Нда, — произнес он скупающим тоном, — симпатичная медалька...

С каким удовольствием Арнольд хотел бы отрезать, что эту медальку его дедушка заслужил здесь, на Серебряной горке, да, на Серебряной горке, где пятьдесят лет спустя ему довелось кататься на лыжах. В качестве бесплатного приложения к ордену был бермонтовский свинец в ноге, из-за чего дедушка стал плохо вальсировать и свинговать, а отца из-за этого цветного кусочка металла годами не принимали в вуз, позже не пускали за границу. Арнольд молчал, потому что прекрасно понимал, что думает этот Валериан Семенович, глядя на его штопаные джинсы, нищенскую комнату, череп на полке и допотопный магнитофон.

— Сколько вы хотите?

— Пять.

— Молодой человек, вам надо измерить температуру!

— Может быть, подарить, а?.. — тихо-тихо произнес

Арнольд. В тот момент он с удовольствием отдал бы не один год своей жизни, лишь бы только посмотреть на этого перекупщика в каменоломнях, на торфяном болоте или лесоповале. Все равно где, лишь бы его изнеженные ручки покрылись волдырями мозолей, чрезмерная усталость согнула тело, сила воли поникла, а сам Валериан Семенович, уделанный педерастами, сидел бы на нарах и из потных портянок вил петлю себе на шею. Вдобавок Арнольд прекрасно знал, почему идет орден среди коллекционеров, сколько за него получают ловкие парни, умеющие надуть самую лучшую в мире таможеню.

— Валериан Семенович, здесь полный комплект. Редкость. Это вы знаете лучше меня...

— Двадцать пять. Могу заплатить тряпками для тебя и твоей девчонки, хочешь, дам чеками или «зеленышками».

— Меня это не устраивает.

— Хорошо. Три!.. — гость многозначительно поглядел на часы.

— О'кей...

Валериан Семенович отсчитал из пухлого портмоне шесть кредиток, закрыл конфетную коробку и положил в «дипломат», в котором Арнольд заметил комплект белья в целлофановом пакете.

Важно, словно покидая десятый дом на Даунингстрит, перекупщик пересек двор, сел в машину и унесся по тихой улочке. А глупый пудель продолжал тявкать и лаять

на кошку на вершине яблони. Арнольд сидел на краю стола и шупал деньги. Нет, настоящие, с водяными знаками. Он подумал, что надо бы устроить Валериану Семеновичу темную, отнять пачку денег, чемодан с белишком, часы «Seiko» и зажигалку «Ronson», дать ногой по заднице, и пусть катится куда глаза глядят. Можно было бы кутнуть, да нет, скорее скрываться по всей стране, пытаться оттянуть удар бутылкой, который настигнет висок в какой-нибудь темной подворотне.

Арнольд растянулся на продавленном диване. Он вспоминал дедушку, чей орден он только что продал. Ужасно!.. Разорившиеся аристократы ведь продают с молотка замки предков, женщины свою честь, мужчины талант, а некоторые счастливы и родину. А тут эмалированный крест, вещественное доказательство дальнего, невозвратимого прошлого. А моя жизнь проходит в настоящем, во времени, которое ежевечерне объявляет теледиктор, и я читаю сегодняшние газеты.

Чтобы быстрее забыться, Арнольд потянулся к транзистору. Аппарат лег своей тяжестью на колени, а телескопическую антенну он вытащил натренированным движением — как старый боевой меч — и нашел коротковолновый диапазон. Загудели микрофоны, задрожали стрелки индикаторов, и шкала с зеленоватым светом, Арнольд крутил настройку и слушал обрывки языков, щемящие звуки джаза, мусульманские молитвы и нервный треск эфира. Диктор по-немецки объявил точное средневропейское время и начал зачитывать новости со всего мира. Кое-что из сказанного понял. Палестинцы. Курс доллара. Война и мир. Американские ракеты на европейских базах и пацифисты на улицах европейских городов. Он потянулся за сигаретой. Надоело... о, как пришлось бы оправдываться за такое вольнодумие. Дайте миру возможность! Что делать, раз весьма непривлекательная перспектива вероятной ядерной войны и самосожжения цивилизации была на повестке дня со времен научных подвигов и творческого триумфа Огтейгеймера, Ферми, Курчатова, Сахарова и других гениев физики, слишком поздно ветры Пацифика срезали ядовитые грибы над японскими городами. Трагедию Бикини и Карибский кризис уже упоминали как примеры новейшей истории, большинство населения, еще брыкаясь в утробе матери, находилось в сетях атомных прицелов, ради чести нации несли запланированные для них тонны тротилового эквивалента, и, короче говоря, человечество в целом воспринимало неминуемую гибель, как каждый человек смерть. Не могло уснуть или застыло в ужасе, допуская это реальное, угрожающее и страшное событие, одновременно, ни за что не желая смириться с резолюцией вышестоящей инстанции, искало новые и новые способы противодействия или спасения. Временами груз казался непереносимым, ракеты совершенствовались, убежища углублялись, а государственные деятели были все более твердолобы. Продолжалась игра нервов, страх разрастался и таял, реалисты призывали предотвратить четвертую мировую войну с палками, а дети на политических плакатах держали посерединке голубей, мирный земной шар. Непрерывно думать о смерти невозможно, черт побери, можно свихнуться, жизнь становится чересчур обременительной, лучше общими усилиями палец на кнопку — летите, ракеты! — или каждому в отдельности наглотаться таблеток, чтобы наступил стабильный покой и оставшиеся желали землю пухом...

Неожиданно открылась дверь, и, сидя в коляске, в комнату вкатился Карлис Таубе. Палкой нажал на выключатель, и помещение осветила мощная лампа на потолке. Физиономия дедули напоминала Арнольду третью лампочку, берегшийся от пуль врагов народа и защитников народа в двадцатые, тридцатые и сороковые годы, осчастливленный персональной пенсией и докторами бежал от Гарри Энд смерти в инвалидной коляске на резиновом ходу. С каждой весной его голос все больше слабел, совсем как транзистор, у которого от постоянного пользования начинают садиться батарейки.

— Арнольд, ты куда-нибудь пойдешь?

— Не знаю, может быть пойду.

— Во сколько будешь дома?
— Не мешай!
— Купи мне то лекарство, как его там, ээ...
— Тебе мать оставила целую коробку со всякими лекарствами.
— Это не те, как бы не кончились... Они поездом уехали?

— Пароходом, пароходом вокруг Европы!
— Померь мне давление!
— Тебе же предлагали лечь на месяц в больницу? Предлагали... — говорил Арнольд, накачивая манжетку. — Нормальное, как у мальчишки.

— У меня еще сила в портках!
Конечно, — Арнольд с удовольствием придушил бы старого павиана. Вместо этого он сердито переключил диапазон и услышал голос человека, находящегося в тот момент за две тысячи километров, в легендарном Альбионе, в прошлом — владыке морей, вернее, в его сердце, в бывшей мастерской мира, в одном из по-прежнему самых важных финансовых и политических центров Запада, вечно затянутого туманом городе с «Большим Беном», королевской династией и двухэтажными красными автобусами, в изолированной от шумов внешнего мира студии «Бушхауз» и не спеша читающего по-русски сводку последних новостей в микрофон с тремя буквами — ВВС.

Карлис Таубе наострил уши и прошамкал:

— Что ты там слушаешь?

— Империалистов, дедуля! — ответил Арнольд, включая на полную катушку.

Той осенью эфир был наполнен известиями о польском кризисе. Но Арнольду не довелось услышать, что же говорит диктор, излагая сообщение корреспондента ВВС Тима Себастиана о последних требованиях Леха Валенсы правительству.

— Выключай! — вопль дедули был громким и резким.

— Бээ! — передразнил его Арнольд, злорадно понимая, что с таким же успехом старый филин мог бы превратить всех поляков в воинствующих атеистов или приказать советским дивизиям перейти границу, — слышишь, коммунистам крышка! Что, руки коротки?...

— Что... что ты, сопляк, себе позволяешь?

— Прости, дедуля! — это Арнольд сказал незамедлительно, чтобы не получить какое-нибудь политическое нравоучение. — Дедуль, а почему все это началось?

— Эх, началось. Надо было в сорок пятом элементарно... Нынче правительству не хватает твердости!.. Буржуазия поднимает голову!..

— Буржуазия? Буржуазия в могиле или на пенсии.

— Те мальчишки, что стреляли нам в спины...

— Им стреляли, им...

— Я не понял... — дискуссия утомила Таубе, голова на тощей шее задрожала.

Арнольд не ответил. Он думал о красных галстуках, которые повязывали Таубе перед строем наряженных в праздничную одежду пионеров под звуки барабанов и горнов. Неужели выбросит? Ни за что, уже полшкафа набил...

— Выключай!.. — орал старый большевик. Арнольд лежал на диване и ухмылялся. Пусть Лондон поиздевается над советской властью.

— Ты, мальчишка, кончай свои фокусы...

— Бээ! — Арнольд показывал язык и декламировал: — Партия торжественно провозглашает: будущее поколение будет жить при коммунизме!

— Партию не трогай!

Арнольд заглушил транзистор на полуслове. Зеленоватый свет потух, и шкала перед глазами совсем опустела. Исчезало ощущение, что, пустив в ход крохи воображения, можно за названиями станций увидеть силуэты бесконечно далеких городов.

— Если тебя, дедуль, послушать, то начнешь думать, что ты единолично штурмовал Зимний и брал в плен Паулюса.

Карлис Таубе покраснел. Такие вольности улучшали кровообращение вояки лучше всякого курса импортных ле-

карств. Он развернул коляску и поехал прочь, проклиная сопляков и увозя с собой партстаж и водянистые злые глазки.

Накопившаяся за день горечь и сознание собственной беспомощности вдруг вырвались наружу, виной тому глупые речи старика, вернее, его физическое появление, поставившее всему точку, чувство ненависти сфокусировалось в одном направлении, подобно ударной силе реактивного снаряда, пробивающего танковую броню. Арнольд знал биографию Таубе лучше любого страстного краеведа, потому что, достигнув возраста, когда начинают сомневаться в доселе долго пережевывавшихся истинах и больше не верят на честное слово, он однажды тщательно изучил бумаги ветерана, когда Таубе сопел после обеда — после еды надо показать богу пузо! Пустое бахвальство, все оказалось пустым бахвальством. И до войны в Советской России, и позже, вернувшись по заданию партии в Советскую Латвию, Таубе всегда выполнял незаметную работу мелкого клерка. Учеба в «Красной профессуре», орден Трудового Красного Знамени, с двадцатого года в рядах, колебания вместе с линией партии и деятельность в губернском комитете. С упоминаемыми в учебниках истории выдающимися личностями Таубе связывали время рождения и пережитые в одно время войны, революции и кампании. Чем меньше оставалось сверстников, тем больше вырастали заслуги Таубе в его собственных глазах. Он позволял себе поучать и с умным видом рассуждать о нэпе, Сталине, коллективизации, убийстве Кирова, другой стороне Луны, нейлоне, блоке НАТО и ленинградской блокаде, хотя все ужасы войны перенес на одном уральском заводе то ли бухгалтером, то ли табельщиком, подсчитывая готовые «катушки» и питаясь офицерским пайком. В коробке с документами можно было раскопать свидетельство о браке и данные рентгеновского обследования в тридцать девятом году, но в частном архиве бесполезно было искать ответ на вопрос, как умудрился Таубе Карл Кристьянович, как смог выжить, аккуратно уплачивая членские взносы, в годы, когда латышей упекали в лагеря только за одну запись национальной принадлежности в графе анкеты. Кто знает, сумел ли Карл Кристьянович выбраться из отары овец в стаю волков, чтобы, претворяя в жизнь генеральный курс, в условиях обострения классовой борьбы спасти собственную жизнь. Может быть, Арнольд был бы более терпим к старику, гадости которого больше не идут дальше нарочно намоченных штанов, если бы этот Таубе не поселился в построенном им дедом доме и мать, как запуганная служанка, не выносила бы по утрам горшок персонального пенсионера всесоюзного значения. А дедушкин адрес уже два года — Лесное кладбище, и Арнольд с трудом вспомнил его ловкие руки, чинящие механизм настенных часов «Gustav Becker» или выставляющие в саду капканы для кротов. Вскоре должен был состояться пятилетний юбилей, как отца его отчима Алексея Таубе настигла болезнь и прелестям пансионата «Коммунар» он предпочел катание коляски в буржуйском гнезде. Квартиру Таубе отказал государству, мол, чтобы дали сознательной рабочей семье, а Собрание сочинений Ленина взял с собой. Ветеран любил летом сидеть на солнышке в саду с томиком в руках, а в холодные месяца целыми днями торчал за столом, читал и конспектировал. Шуршали газеты, в книгах было полно закладок... а вдова строителя дома смирилась с происходящим, как с мучительными обострениями полиартрита весной и осенью. Раньше она таких захребетников называла просто: те, из голодной губернии, теперь же выслушивала разговоры, что «депортация была объективной необходимостью», и помалкивала. Целыми днями бабушка сидела у себя в темной комнатке и листала толстые годовые переплетенные тома журнала «Атпута». Незаметно в кресло гордой госпожи Элфриды уселась тихая, жалкая старушка.

Встав, Арнольд еще раз пересчитал деньги и решил заплатить хозяйке за комнату уже вечером. Завтра суточное дежурство, будет некогда. Заплатит, и — прощайте, родственники, как хорошо вам теперь будет, в любви и согласии... Подсчитывая деньги, он еще обдумал план уехать

куда-нибудь далеко-далеко. Добраться до аэропорта и схватить билет на первый рейс. В Средней Азии пора дынь, и сумасшедшая жара тоже спала. Еще дальше растилается могучий и бескрайний Тихий океан, который он своими глазами видел только на глобусе. Ехать и ехать, как можно дальше, передразнил он себя. Какого черта, проще утопиться в поллитровке. Еще Арнольд представил, как отчим и мать стоят на палубе корабля в Датском проливе, вглядываются в туман и пытаются сквозь мглу разглядеть башни замка Гамлета. Алексей Таубе бросает морской бинокль, счастливо кричит «земля, земля» и напомним, что он флейта, которую легко сломать, но безнадежно заставляя инструмент играть.

В гостиной у телевизора сидел Карлис Таубе. Он смотрел передачу для детей. На экране кружок юннатов гладил белого кролика. Длинноухий морщил мордочку и грыз зеленый листик салата. Поев, животное ускало в клетку, а Карлис Таубе удовлетворенно засмеялся. В последнее время он вообще любил посмеяться — и услышав раскаты праздничного салюта, и увидев шайбу в воротах канадцев, и читая некролог по поводу смерти мужика, на тридцать лет младше его. Сводный брат в ванной комнате укладывал в спортивную сумку мыло и полотенце, он был аккуратен и хотел стать чемпионом. Бабушка, конечно, экономила электричество, сидела в потемках у окна и листала «Атленту». На сей раз последний мирный год в Европе.

Арнольд открыл входную дверь. В лицо ударил мелкий, противный осенний дождь . . .

. . . мелкий, противный осенний дождь лил на голые поля Белоруссии. Арнольд глядел на капли воды на оконном стекле и вспоминал похожий грустный осенний день, когда он бродил по кладбищам. На Братском кладбище с левой стороны, у ворот, виднелась дощечка «Карлис Таубе». Цифры на камне свидетельствовали, что товарищ помер год назад. Интересно, успел старикан отпраздновать круглый юбилей своей революции или сдох в ожидании праздника, подумал Арнольд, ступая по скользким листьям липы на дорожке. А с правого бока у Таубе почивал товарищ Бондаренко, с другой стороны, в свою очередь, вечный покой обрел товарищ Левин. И мать Левина грустила о всех, кто лежал в этой освященной земле, по аллее в сторону Вечного огня топали обвешанные фотоаппаратами туристы. Они сосали карамель и фильтры сигарет, кричали и гордились яркими импортными тренировочными костюмами. Фирма «Adidas» завоевала рынки и кладбища.

Арнольд смотрел, как плотный занавес дождя падает на землю, и вспоминал рассказ бабушки, что его деда не разрешили похоронить на Братском кладбище. В детстве таких рассказов вместо сказок было много, очень много. Муж госпожи Берзинь, офицер, расстрелян у Балтэзерса, секция нашла в легких песок, значит, красные зверги живым затолкали в яму. Дядя Альберт, его двенадцатилетний сын, избивал в школе мальчишку милиционера. Все, все как один остались в Сибири . . . Дождь бил в окно, а Арнольд, вспоминая эти истории, и не думал ужасаться, настоящее, его собственное настоящее было продолжением молодости его родителей. Кому какое дело до последней воли умирающего, если эти могилы — гордость латышского народа. А гордость надо беречь. Так что изрядный отряд из верной гвардии революции выполнял последнее боевое задание на Братском кладбище, стараясь своими гниющими телами скрыть общий срам — всех этих «Лачплесисов», кангаров в фашистских мундирах и одуроченных мальчишек, сложивших свои головы на между, так и не поняв, с какой стороны света восходит утро завтрашнего дня. А вторая рота покойников залегла в красные гробы, как в броневики, и последний бой, несущий победу, провела на Лесном кладбище. Места их захоронения, выстроенные в длинную-предлинную фалангу, должны были стать на пути памяти президента, прихвостня империализма и кровопийцы Чаксте. Арнольд вспомнил вечера свечей и нагибающихся молодых людей на аллее большевиков, надо полагать — комсомольских активистов, ставящих на каждый могильный холмик по толстой казенной свече . . . А он бродил по бесконечным,

с детства знакомым кладбищенским дорожкам и безошибочно находил обоих дедушек и бабушек. Зажигал огонь и возлагал веночек из мха. С каждым годом все свободное пространство поблизости все больше заполнялось, оставшиеся без присмотра могильщики отдавались другим обитателям. Теперь можно было прочесть слова прощания кириллицей, изучать православные кресты, серпики и молоточки. Сонный Арнольд, приближающийся в скором поезде к границе государства, был уверен, что очень скоро могила родителей его отца перейдет в распоряжение более достойных покойников. По материнской линии положение надежнее, привычка латышей считается с принципом «что люди скажут» заставит и впредь платить за уход и высаживать цветочки. Он уезжает, а предки остаются на родине, даже превращаясь в тлен и сливаясь с землей, за которую они лили свои слезы, пот и кровь, они обречены на вечную осадку, даже на кладбище они не смеют остаться наедине, даже их памяти назначены надсмотрщики. Даже могил, своих могил не осталось, даже на кладбище мы чужие и лишние — это Арнольд сказал бы каждому, кто сочувственным голосом отговаривал его от опрометчивости.

А в тот момент единственным слушателем мог быть только маленький, сплошь татуированный мужичок, хлопающий полными сна глазками и широко зевающий.

Арнольд спустился на пол, влез в брюки, взял из багажной сетки рубашку.

— Что у тебя? — неожиданно спросил мужичок с верхней полки.

— Что?

— Ну, это! — мужичок показал на левое плечо Арнольда.

— В танке горел.

— Афган?

— Чехословакия. Шестидесят восьмой, — совершенно серьезно заявил Арнольд. На самом деле ожог он получил в финской бане, вспыхнувшей, как факел, в два часа ночи. Подогревшись после охоты товарищи спасались, как тараканы. Местный уполномоченный милиции выскочил из огня совсем голышом — одной ладонью прикрывая глаза, другой — пах. Он сам, главный и единственный хирург больницы, потерял на барской охоте брюки, сапоги и двадцать квадратных сантиметров кожи. Ожог Арнольд зарабатал, спасая в панике и хмелю брошенные в зале торжества красавицы — бутылки экспортной водки. Ожог нещадно болел, председатель исполкома ругался шестизетажными, милиционер отнял у шофера полшубок, девки трясли сиськами и визжали, пламя мерялось ростом с матчовыми соснами, а в охваченной стихией бане взрывалась брошенная в патронташах амуниция. Парторг ближнего колхоза сидел в сугробе, ел снег и утирал пьяные слезы, у него погибло портмоне с водительскими правами и партбилетом.

— А мой батька Берлин брал! — из-под одеяла похвастался попутчик.

— Поклон ему, — сказал Арнольд, завязывая шнурки. Он протянул руку и разбудил жену. — Вставай, Эйфелева башня на горизонте.

— Где мы? — шепотом спросила Софья.

— Широка страна моя родная . . .

Вystояв очередь в туалет, Арнольд ополоснул лицо. За ночь на стене появилась новая надпись, прославляющая *havy metal*. Классовый враг продолжал разрушать идеалы молодежи и общественный транспорт. За это он тоже выпил и пошел курить. Лица стоящих в тамбуре мужчин были столь же хмуры, как день за окном, они глотали табачный дым и говорили о ценах на водку, потом помолчали, покурили и заговорили о ценах на «жигули».

Пока женщины в купе одевались, Арнольд подождал в коридоре, а маленький татуированный мужичок побежал искать, где бы опохмелиться. Из приоткрытых дверей купе в коридор вырывался польский язык. Это купе было завалено телевизорами, как оптовая база, и пассажирам, вероятно, пришлось провести ночь на приобретенных в

Риге «Рубинах». Поляки собирались стать второй после итальянцев нацией миллионеров в Европе и получать в зарплату суммы с шестью нулями. Какая странная судьба у народа, ранее внушавшего страх и уважение своим католицизмом, строптивостью и легкой кавалерией, а теперь угрожающего своим соседям католицизмом, строптивостью и не утоленной нищетой жадной похлебки. Интересно, берегут ли в Польше владельцы телевизоров упаковочные ящики, чтобы потом выгоднее продать аппарат. Мы ведь храним на антресолях картон от своих «Sharp'ов» и «Соппу» и в комплекте тащим аппаратуру в комиссионку или предлагаем сведущему спекулянту...

...у спекулянта было интеллигентное лицо. Поэтому пошлое определение Арнольд оставил для статьи Уголовного кодекса, в конце концов, этот парень с инженерным образованием и вежливостью прошлого века не отнимал куска хлеба у вдов и сирот, просто по-деловому и оперативно перераспределял навар, который нам более ловкие граждане черпали из котла родного государства. Перекупщик был евреем с грустными глазами Кафки и принадлежал к людям, к языку которых, как муха на липучку, в течение недели прилипают слова совершенно чужой речи.

— Уезжаете? — остановившись в центре комнаты, сочувственно спросил Алик.

Над его головой из гипсовой розетки на потолке высывался железный крюк, одинаково пригодный как для люстры, так и для исполнения смертного приговора. А паркет посередине комнаты был затоптан, из мебели остались только поломанный диван и табуретка. Все остальное двое парней со столами и руганью неделю назад снесли в грузовик.

— Уезжаем, — словно выполняя этикет, подтвердил Арнольд и стряхнул на паркет пепел.

— Штаты?

— *Bundesrepublik Deutschland*, — сказал Арнольд. Действительно, в Бремен, к музыкантам?..

— Нас там не любят. Мой дядя зашел в ресторан. И хозяин, фашист, так и сказал, что жидов он обслуживать не будет.

— Антисемитизм распространен так же, как марксизм.

— Да, да... — протянул Алик, и в его карих глазах появились страх и недоумение, как при чтении слов *Judenfrei, жидовский погром*.

— А вы, Алик?.. Останетесь помогать Горбачеву?

— Не знаю... Раньше не давали визу. Теперь... У меня бабушка не встает с кровати, куда ей, нельзя же дать помереть на обочине.

— Да, грех...

— Грех...

— Дернете? — Арнольд остановился у подоконника, на котором стояло несколько бутылок и чайных стаканов. — Посуда, к сожалению, продана.

— Нет, нет, я после *Боткина*...

— Канализации наполнились? — спросил Арнольд. По правде говоря, ему было все равно, кочевряжится ли действительно бережет печень. В стакан было налито виски, привезенное родственником Софьи из гостей в Израиле.

— Россия... Голод, холод и разруха. Вместо сыпного тифа — гепатит, — отозвался Алик и высморкался. — Мне посоветовали мумие.

Оба высоких окна комнаты были закрыты газетами. «Известия», «*Moscow News*», «*Лугазета*», старый номер «*Frankfurter Allgemeine Zeitung*». Один подоконник с импровизированным барчиком, на второй поставлен портативный телевизор «JVC». Арнольд включил аппарат в сеть. Москва приглашала в кинопутешествие. Они немного помолчали и посмотрели, как над снежными вершинами Гималаев встает чудесное пурпурное утро.

— Нда-а... — протянул специалист. — В Риге доставали?

— В московской «*Березке*».

— И вы...

— Упаси боже, в очереди не томился. Привезли. Два «стольника». На «*Mundial 86*» куплено.

— Дешево.

— Инфляция прогрессирует, как импотенция. Блядство! — неожиданно выругался Арнольд. — За доллар уже дерут десятку. Чтобы я, я зарабатывал двадцать долларов в месяц?.. Всегда вспоминаю рассказы «*Елка в Сокольниках*». Владимир Ильич и Надежда Константиновна свой кусочек сахара отправили сиротам...

В коридоре раздался шаг. Это была Софья в сапогах на шпильках, она вошла в комнату поставить сушиться зонт. Арнольд познакомил обоих и предложил жене согреться *Длинным Джоном*. Софья отпила и предложила гостю растворимый кофе.

— Алик после гепатита, употребляет только дистиллированный «*нарзан*»... — и Арнольд переключил телевизионный канал.

В Риге продолжался съезд. Уже второй день лучшие сыновья и лучшие дочери народа хотели жить лучше. Оратор на трибуне требовал суверенитет республики, и конгрессмены приветствовали его аплодисментами, криками «ура» и размахиванием мандатов.

— Сколько времени вы, Алик, живете в Латвии?

— Лет десять будет.

— Выселят, эти выселят. Латвию латышам... У них будет своя армия, своя валюта, послы в Кремле и в Белом доме.

— Арнольд, прекрати, — перебила его Софья.

— Алик юмор понимает, хороший, здоровый жидовский юмор. Может быть, вас оскорбляет слово «жид»?

Александр Гершкович густо покраснел.

— Не сердитесь, — Арнольд стал серьезным, — почитайте латышскую классическую литературу. В каждой пьесе торгует жид-коробейник. Школы жидов и театр жидов, латышки рожать хотели только у врачей-жидов. И старые газеты полны картинок «*Столкновение жидовской полиции с арабами в Палестине*». А всесоюзное значение слова «жид» мне привезли в сороковом году на танках.

— Думаете, я не знаю, сколько синагог латыши сожгли, сколько евреев перебили! А вы словно... Интеллигентный человек...

— Алик, Алик... Латыши всегда были народом пахарей и стрелков. Правда, хлеб доставался чужакам, и пролитая кровь не принесла свободы. Видите ли, своим рождением я в некоторой степени обязан познаниям покойной моей старушки в идиш. Это у нее с детства, семья имела дело с жидовскими лавочниками. Когда в первый советский год в ее дом поселили офицера чека, бабушка с госбезопасностью говорила на идиш, носила комиссару кошерное мясо... Не знала бы языка, узнала бы Сибири! Кто бросал цветы танкистам Красной Армии? Ваши соплеменницы. Плохо было в Латвийской Республике? Кто руководил, допрашивал, пытал и высылал?... Откомандированные из Москвы офицеры НКВД, в большинстве жиды. Сколько бабушек на обочинах поумирало, вороны лакомились глазами латышей.

— А латыши, Арнольд? У вас ведь было свое правительство, народный блок.

— Правительство драпануло со всеми женами и идеалами. Знали, что их ждет. Да, латыши сами виноваты, да, простодушны, да, наивны, да, нерешительны... Но как трудно признать это! Как хочется свалить вину на другого!.. Перед войной антисемитизм означал анекдот о жиде-торговце, выманивающим лишний лат у папаша-хозяина. О погромах никто даже не слышал. И вдруг, в сорок первом, когда Красная Армия благополучно удрала и еще ни один солдат вермахта или СС не был поблизости, нашлись латыши, ловившие всех евреев подряд. Око за око, зуб за зуб. Как пишут в газетах, не жалели ни женщин, ни стариков и детей. Все ли, стрелявшие в жидов, были садисты, люди с извращенными инстинктами? Сомневаюсь... Кровь пьянит больше, чем виски. Захмелела немчура с Гете в голове, захмелели и латыши с Райнисом. Сейчас в секторе Газа тоже, наверное, ходит какой-нибудь захмелевший еврей... А фашистам нравилась наша сознательность, и они со всей Европы возили

жертв для латышских ружей. Так слово «жид» приобрело то значение, которое так обоснованно оскорбляет вас. И в проигрыше не только евреи. В скольких латышах бродит зависть, что среди вас так много талантливых музыкантов, шахматистов, математиков. А Россия — там большинство колхозников уверено, что ваши соплеменники, Алик, являются израильской агентурой на исторической родине социализма.

— Теперь на митингах еще не то говорят.

— Да, да, — засмеялся Арнольд и взял новую сигарету, — жида и латыши повинны в страданиях русского народа. Видно, великий народ, раз, разинув рот, смотрел, как сбрасывают кресты с соборов. Но... Лев Давыдович Бронштейн призывал к мировой революции, и латышские ребята первые вылезли из окопов. Логика!

— А вы, Арнольд, на что вы надеетесь? — тут Алик глянул на экран, на съезде аплодисментами встречали мысль о правовом государстве, в котором наивысшей властью обладал бы закон.

— Я? Я надеюсь? — Арнольд поставил пустой стакан. — Я надеюсь выгодно продать телевизор.

— Но...

— Сентиментальность, Алик, нам оставили в наследство семьсот лет рабства у баронов. В квартире напротив живет одна дамочка. По воскресеньям, отправляясь в церковь, она прикалывает флажок. Ну, выдал добрый дяденка флажок, ну и что еще? Споем? А дальше?.. Вскоре придется признать, что флажок всего-навсего цветная тряпка, кусочек ткани из матраца, на котором спит пьяный мужик.

— Но...

— А, съезд!.. Говорят. Много говорят. Послушайте, послушайте, и поймете одно!

— Что?

— Эта организация в ящике похожа на латышскую Юмправу, которая хочет сохранить невинность и стать многодетной матерью.

— Что это такое — Юмправа?

— Недотрога.

— Вы, наверно, плохой латыш.

— Несомненно. Вот!.. — Арнольд одним прыжком, потеряв по дороге тапочек, подскочил к телевизору и чуть ли не тыкал сигаретой в экран. — Вот! Эта морда. Делегатик! Патриотик!

— Ты его знаешь? — спросила Софья, внося дымящиеся чашки кофе.

— Знаю... — Арнольд потянулся за чашкой, — такая орнитологическая фамилия. Балодис.* Тоже врач. В свое время поучал меня, как в Скандинавии уберечься от провокаций реакционных организаций... Сидит теперь, как орел, о судьбах народа размышляет... Боюсь, что кончится хуже, чем с конторой попа Гапона.

— Арнольд, сейчас не сталинские времена!

— Действительно?

— Когда-то за подобные разговоры нас обоих бы... Слава богу, это осуждено, памятник будут строить, может быть, Солженицына напечатают.

— Построят, напечатают... Приятно, что «тройка» тебя больше не осудит. Вот, реабилитировали любимца партии, оказывается, с двадцать девятого года у товарища Бухарина не было никаких разногласий с цека, лежал, бедняжка, на диване в кремлевской квартире и пускал слезу о разоренных селах России, ждал, когда Коба скажет ласковое слово... Как хорошо жили бы, если бы государством руководил такой человек... Не те времена? Да, модели танков современнее! А status quo оккупационного режима без изменений. Спасибо товарищу Сталину!

— Почему?

— Алик, умрет ваша бабушка, встанете в очередь в посольство, а янки покажут вам фигу. А мой статус беженца сохраняется. Я насильственно присоединен, инкорпорирован в коммунистическую империю. Согласитесь, звучит гордо?..

Октябрьские сумерки проникали в комнату, и в газетных листах на окнах можно было разобрать только самые крупные заголовки. Арнольд свернул подвешенную к стенке голую лампочку. Свет был ярким-преярким.

— Как у следователя, — заключил он. — Вообще, квартира выглядит как после конфискации имущества.

Дальше заговорили о пересадках сердца и о родах. Алик мечтал, чтобы, приехав в Америку, жена разродилась, и малыш автоматически получил подданство. А телевизор транслировал ход принятия резолюции съезда. Было предложение ввести в Латвии местное время. Кажется, его приняли единогласно, без лишних распрей и шума.

— Это по-деловому! — обрадовался Алик. — Идиотизм, подумайте, вы только подумайте, встать в четыре утра! Где Москва, а где Рига!

— Идиотизм.

— Интересно, выйдет ли?

— Лично я буду жить по среднеевропейскому времени, — сказала Софья.

Сошлись на двух тысячах. Перекупщик был доволен, его бизнес процветал. Арнольд вытащил с антресолей в передней упаковочный ящик. Прощай, Япония! Скоро встретимся... Рука на выключателе, и телевизор погас. В одно мгновение поющий съезд превратился в мерцающую точку в центре кинескопа, и латышскую мелодию сменили надоедливые удары дождя об оконное стекло...

... удары об оконное стекло и не собирались переставать. Что за кайф бежать по скользящему перрону, чувствовать, как холодные струи бьют в лицо и ветер залезает за одежду. Арнольд еще раз взгляделся в пассажиров из братской Польши. Радости на их лицах было меньше, чем в траурном марше Шопена.

Постели и матрацы в купе были убраны. Пассажиры чопорно сидели на пронумерованных местах, как в милиции. Дамочка в костюме из ангоры осваивала интернационализм, сидя на одной скамейке с мужчиной, любившим лук. Все ждали проводницу и горячий чай, чтобы заняться ложечками и рафинадом, что в тот момент означало бы забыть про неудобства дороги. Наконец появилась проводница с подносом. Дамочка уплетала черствые рижские булочки, мужичку, назвавшему себя Николаем Ивановичем, жена дала с собой огромные ломти хлеба с салом, Арнольд стал разыскивать нож, чтобы отрезать колбасы, и злился, что нет сливок, чтобы смягчить действие эрзац-кофе в желудке.

Николай Иванович, интеллигентно прожевав во рту птицу, сообщил, что теперь его Белоруссия «всю страну кормит». Остальные промолчали, и произошло самое страшное, потому что, опохмелившись и подзаправившись, товарищ жаждал поговорить о политике. Он нахваливал руководителя государства и партии, но весьма некорректно высказывался о супруге лидера, по его пониманию, первая леди должна была стоять у плиты и с теплым обедом ждать дома мужа. Арнольд глазел в окно и не мог выбрать — идти ли покурить или надеяться, что это сделает добросовестный агитатор, чье лицо так подошло бы для первой страницы центральной газеты, в рубрику «Победители социалистического соревнования». После того, как Николай Иванович длинно и пространно обсудил гласность и перестройку, он принялся допытываться у попутчиков, «что вы, Прибалтика, хотите?».

(Окончание следует)



* Balodis — голубь (латышск.).

МИР ДЗА БЕНДРУПЕ

БАЛЛАДА ВАЛЬПУРГИЕВОЙ НОЧИ



Владимиру Высоцкому

Вальпургиева ночь! В саду деревья бредят,
Вихрь кружится в саду и длит и множит бред.
В крошечной темноте мелькают меж деревьев
Болотные огни и тени упырей.
Огни зелёных глаз мерещатся в трясине,
Испугана земля,
И вокруг своей оси
Вращается быстрее, и тем невыносимей
И гибельней судьба, и не хватает сил.
Всё уже круг друзей:

 так камешки ронял бы
С ладони в тёмный сруб,
И боле ничего
Не ощутить руке — нет ничего реальней
Трясины под ногой и чавканья шагов.

И рушатся мосты, и оживают бездны,
О, сколько темноты вычерпывать из них —
Там, где погребены

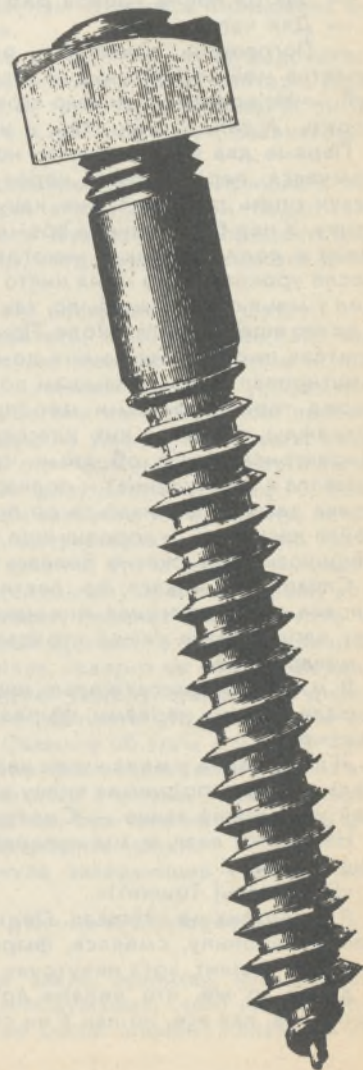
 и сны и колыбели . . .
Пустым ладоням тех, оставшихся в живых!

Покуда злая ночь свою собирает жатву,
Не пропоет петух, лишь ад разверзнет пасть.
Найдётся ли во тьме — глухонемой и жадной —
Тот, кто спасёт, кто нас осмелится искать!

Но слышишь! Чей-то крик
Всё ж ищет, всё ж кричит!
Посмевшее лететь без крыльев
 заклинанье:
«Изыди, нечисть! Сгинь! Рассыпья!»
 Крик в ночи,
Он знает, как в людей нас превратить, он знает.

Вскипает крик, как кровь, как пламя, как вино,
Он утро не зовёт — приказывает сбыться,
А утро — слышишь, ночь! —
 конец твоим убийствам,
А утро — смерть твоя,
Вальпургиева ночь.

Перевел ОЛЕГ ЗОЛотов



АЙВАРС КЛЯВИС

Я ЗОВУ — ОТЗОВИТЕСЬ!

ПОВЕСТЬ

Мне полагался бесплатный обед. Впрочем, с тех пор как себя помню, обедал я в школе бесплатно. И если вы думаете, что это доставляло мне радость, вы ошибаетесь. Та еще радость — дармовая похлебка. С каким бы удовольствием я говорил, что еда в школе — настоящая отравка, и просаживал бы денежки в кафе. Но денег мне никто не давал. Меня кормили бесплатно. Поэтому не есть я не мог. Да и как не станешь есть, если все время хочется.

На лестнице кто-то схватил меня за руку.

— Ты куда мчишься, Арманд? — Это была завуч.

— Обедать, Марта Яновна!

— Этаким галопом?

— Да, все уже внизу.

Она отпустила мою руку, постояла, подумала, потом сказала:

— Завтра после уроков разыщи меня.

— Для чего?

— Поговорим, узнаешь, — ответила Марта Яновна и, заметив мой вопрошающий взгляд, улыбнулась уголками губ. — Не волнуйся! Ничего страшного. Просто надо поговорить. А теперь иди. Иди, а не беги.

Первые два шага я сделал нормальных, а потом снова помчался, перепрыгивая через ступеньки. Я решил, что завуч опять подсунет мне какую-нибудь срочную работенку. У нее была манера время от времени пристраивать меня к делу, так как я никогда не отказывался остаться после уроков. Дома меня никто не ждал, никаких срочных дел у меня обычно не было, так и повелось. После уроков я долго еще торчал в школе. Помню, когда был маленький, учителя просто гнали меня домой. А стал постарше, ремонтировал столы, малышам помогал оформлять стенды, перед торжественными мероприятиями украшал сцену. Однажды в нескольких классах починил электричество. Директриса, узнав об этом, чуть инфаркт не схватила. Вызвала в свой кабинет и полчаса внушала, что я не имею права даже дотрагиваться до проводов, что может произойти несчастье, и хорошо еще, что все так благополучно обошлось. Она ужасно боялась несчастных случаев.

Словом, я мчался по лестнице, полагая, что Марта Яновна опять подсунет мне какую-нибудь работенку. Ребят нагнал возле самой столовой. На обед был шницель с макаронами.

В младших классах серые школьные макароны мы называли белыми червями, фыркали в тарелки и веселились как могли.

«Глянь, какой у меня кусок червя, — произносил кто-нибудь гадливо, поднимая вилку с подцепленной макарониной как можно выше. — Смотри! Смотри!»

Начинался визг, и мы наперебой, изображая отвращение, кричали:

«Перестань! Тошнит!»

Я от других не отставал. Поднимал подцепленную вилкой макаронину, смеялся, фыркал от отвращения, говорил, что тошнит, хотя ничуть меня не тошнило. Просто я делал то же, что делали другие. Мне хотелось быть таким же, как все, но как я ни старался, у меня ничего не

получалось, так как в отличие от одноклассников я съедал свою порцию макарон, а не оставлял раздавленные макароны в тарелке. Бывало, и несколько порций съедал. Всегда находился кто-нибудь, кто не ел: то ли не хотел, то ли было невкусно, и ходили они в столовую просто ради компании.

И вот меня стали обзывать обжорой.

«Дай Арманду! Арманд, вон еще одна порция! Арманду этого мало. Ему жареного слона подавай. Арманд, а смог бы ты съест жареного слона?»

«Смог бы», — отвечал я.

И они снова принимались хохотать. Мне-то что, пусть хохочут. Я даже хотел, чтоб они и в самом деле считали меня диким обжорой. Лучше уж прослыть обжорой, чем признаться, что ты голодный. Я тогда часто уходил в школу без завтрака, а спать отправлялся на голодный желудок. Большинство даже представить себе этого не могли. Большинство моих одноклассников съедали на завтрак яйцо всмятку или творог со сметаной, а вечером у них был выбор — с мясом или без мяса есть жареную картошку.

А еще за завтраком мы швырялись хлебом. Хлеб в школе был темно-коричневый и внутри сыроватый. Он отлично сплпался, стоило только сжать кусок в руке.

Учительница сердилась:

«И как это вы додумались до такого! Это же хлеб... Поднимите сейчас же!»

Мы же недоумевали, почему с макаронами можно, а с хлебом нельзя играть и почему так беспокоится учительница, ведь хлеба на столе было сколько угодно. Хоть завались. Еще и оставалось. Много кусков было надкусанных и брошенных. Хлеб был не очень вкусный, даже я не мог съесть больше одного-двух кусков.

За баловство с хлебом учительница нас ругала, прогоняла из-за стола, писала родителям записки, а однажды оставила после уроков. Ровно сорок пять минут мы молча сидели в столовой за пустыми столами.

Повзрослев, мы бросили это занятие.

Но шло время, а в школе ничего не менялось. Насколько я мог заметить, малыши по-прежнему обтаивались хлебом. По-моему, только хлеб стал вкуснее. Оставалось надеяться, что и малыши поумнеют, как поумнели в свое время мы.

В класс я вошел одновременно со звонком.

После второй математики Индра сказала:

— Ведь ты придешь вечером.

Она не спрашивала, не приглашала в гости, она сказала это так, словно само собой разумелось, что без Юркуса сегодня не обойтись и что Юркрус придет обязательно.

— Куда?

— Чокнулся, что ли? Сам знаешь, куда.

Я смотрел в окно. На улице шел дождь. Ветер раскачивал ветви деревьев. Желтые листья намочили, отяжелели. По улице, прячась под зонтами, спешили прохожие.

Наконец-то. Наконец-то она произнесла слова, которых я ждал, из-за которых не находил себе места. Испытал ли я чувство удовлетворения? торжества? радости? Ничего подобного. Мне скорей стало грустно. Я смотрел на желтые листья за окном, на людей, спешащих по улице, на морозящий дождь, и меня охватила жалость к самому себе. Боже, до чего же я жалок! Создаю проблемы там,

(Продолжение. Нач. в № 2, 1990)

где их нет. И так всегда! Все комплексую и комплексую, в то время как другие живут припеваючи.

— Арманд! Ау-у!

— Да, — ответил я.

— Ты слышал? Вечером жду тебя в гости.

Вот теперь это было похоже на приглашение.

— Спасибо.

— Значит, придешь?

— Обязательно. Во сколько?

— В семь.

6

«Может быть, не стоило все-таки ему говорить?» — на уроке латышского языка размышляла Индра.

Приглашать или не приглашать Арманда на день рождения — этот вопрос вот уже несколько недель не давал ей покоя. Чем ближе был день рождения, тем труднее было решиться.

Ясно, сама виновата. Давно надо было рассказать Арманду правду. Не хотелось. Язык не поворачивался, вот и откладывала разговор со дня на день и дотянула до того момента, когда откладывать уже нет смысла, так же как не было смысла рассказывать. Пустила все на самотек.

Индра хорошо знала Арманда, поэтому понимала, как болезненно он воспримет случившееся.

«Бред какой-то, — думала она, почти не слушая того, что рассказывала учительница. — Бред, с какой стороны ни посмотри. Но самое идиотское, что мне его жалко. Так жалко, что просто злость берет. Что я, сестра милосердия, что ли! Не могу же я всю жизнь его жалеть. Мама права — хуже, если он придет без приглашения. Это уж вообще будет ни на что не похоже. Скажут, что я поступила непорядочно, отвратительно. Но ничего непорядочного в этом нет. Хорошо, что я решилась его пригласить. Теперь посмотрим. Придет . . . Увидим . . . Хотя я бы на его месте не пошла».

После уроков Индра отправилась домой в полной уверенности, что поступила правильно, что иначе поступить она не могла.

— До вечера! — помахала она Арманду.

— До вечера! — Арманд в ответ тоже махнул рукой.

7

В тот момент, когда они расстались возле школы, Марта Яновна, заведующая учебной частью школы, осторожно постучала в кабинет директора и приоткрыла дверь. Директор говорила по телефону. Жестом она пригласила коллегу заходить и садиться, а сама продолжала разговор:

— Неужто нельзя было меня подождать? Во сколько собираются? Нет, раньше пяти я не смогу. Что ты сказал? Безусловно, гарантировать не могу. Ну хорошо . . . хорошо . . . Рубашки в шкафу. Да, и серая. Смотри, ничего не забудь! Сколько дней ты будешь в Ростове? А в Берлине? Прекрасно. Можно бы, конечно, и подольше, но все равно замечательно. Не забудь взять лекарство. Успешной поездки! Счастливого пути! Удачной . . . удачной поездки. Что? Я тебя плохо слышу. Кто-то мешает. Да, да. Конечно. Мне некогда. До свидания! Всего хорошего!

Она положила трубку. Взглянула на Марту Яновну и пояснила:

— Муж сегодня уезжает в ГДР по обмену опытом.

— О-о-о! Сегодня вечером?

— Да, сегодня вечером.

— Вам, Ингрида Карловна, не надо было сегодня задерживаться в школе.

— Ничего не поделаешь. В четыре надо быть в районо, а они договорились на пять. Остается надеяться, что справится и без меня. Главное, чтоб ничего не забыл и не перепутал. Сами знаете, что такое мужчины!

Директор рассмеялась, а потом серьезно спросила:

— Расскажите лучше, как обстоят дела с кабинетом физики.

Завуч поморщилась.

— Пока ничего нового.

— Значит, Ванас не закончил оборудовать кабинет?

— Нет.

Это «нет» было похоже скорее на вздох.

— Простите, дорогая коллега, но учебный год давно начался, позади половина сентября. Долго он еще собирается тянуть? До Нового года? А может, до весны?

Язвительны были не столько вопросы, сколько тон, которым они произносились.

— Альгирт Фрицевич хочет . . . — попыталась возразить завуч.

Директор ее перебила.

— Товарищ Ванас слишком много хочет. Мы обычная средняя школа и не можем позволить себе все, что он захочет. Мы должны исходить из средств, которые имеются в нашем распоряжении. А хотеть можно бог знает что.

— Я понимаю. Но ведь . . . ничего лишнего он не хочет. Элементарно необходимое, но отвечающее современным требованиям. — Завуч попыталась разрядить напряжение, которое свидетельствовало о приближении грозы. — Мы вчера вечером об этом говорили. Он обещал, что к концу сентября . . .

— А я уже в августе сообщила в районо, что все кабинеты в школе укомплектованы и готовы принять ребят. Да и может ли быть иначе, если учебный год начался? Не может! А районо непременно сообщило об этом дальше, в министерство. И не дай бог, если кому-нибудь вздумается явиться с проверкой. Это первое и главное. Второе. Я перестала верить обещаниям Альгирта Фрицевича Ванаса. Он обещает с июля.

— Но, Ингрида Карловна, вспомните, как вы радовались прошлым летом, что придет наконец новый учитель, увлеченный своим предметом, к тому же мужчина. И он до ночи пропадает в кабинете. Сам монтирует, завинчивает, красит, прибывает.

— Знаете, коллега, в конечном счете я пришла к выводу, что перевес женщин в современной педагогике явление закономерное, и в будущем их процент еще возрастет. Наступит момент, когда мужчину в школе днем с огнем не найдешь.

Завуч засмеялась. Она это восприняла как шутку.

— Не смейтесь, не смейтесь! К сожалению, это так. Хотите верить, хотите нет, но мое предсказание исполнится. Я заметила, что мужчины много усложняют, с ними трудно работать, ибо они не в состоянии приспособиться к требованиям дня, не умеют лавировать, находить варианты, отыскивать оптимальный путь достижения желаемых результатов. А результаты эти, вы и сами прекрасно знаете, нельзя ни взвесить, ни измерить, ни пощупать. Их можно только почувствовать. Зачастую чисто интуитивно. Я поняла, что именно это мужчин и смущает. Поэтому стремление Ванаса самому красить, самому вбивать гвозди меня не удивляет. Кабинет физики — это не какой-то там воспитательный процесс, это нечто конкретное. — Завуч опять не поняла, говорит ее коллега серьезно или шутит, на всякий случай улыбнулась, однако директор вздохнула и сказала: — Делайте что хотите! Но последний срок — пятница. Скажите об этом Альгирту Фрицевичу. Ничего страшного не произойдет, если одна из его гениальных идей не воплотится в жизнь. Главное, чтобы было все самое элементарное, без чего нет кабинета физики и без чего нельзя проводить уроки.

— Да, — согласно кивнула заведующая учебной частью.

— Это все, — положив руки на стол, подвела черту директор.

— Да, да, — повторила завуч, понимая, что принято окончательное решение, и обдумывая, стоит ли заговаривать о том, что привело ее сюда. Момент показался неподходящим.

Однако директор, уловив мгновенную заминку, спросила сама:

— У вас еще что-то ко мне?

— Нет-нет, это не столь важно.

— Говорите! Не стоит откладывать на завтра то, о чем можно поговорить сегодня. В моем распоряжении ровно полчаса.

На противоположной от стола стене тихо тикали часы. Марта Яновна с удивлением отметила, что пробыла в кабинете целых двадцать минут.

— Вопрос не такой уж существенный, — медленно произнесла она. — О школьном слете в Вильнюсе, куда надо послать нашего представителя.

— Помню, — сказала директор, без особой нужды поднимая и опуская на рычаг телефонную трубку. — У вас есть кандидатура? По-моему, у вас есть кто-то на примете. Кто?

— Юркус из одиннадцатого. Арманд Юркус.

Директор, опустив голову, посидела с закрытыми глазами — вспоминала. Завуч знала — она гордится тем, что помнит всех старшеклассников по имени.

Молчание затянулось.

— Юркус... Тот, что на свой страх и риск взялся чинить проводку? — наконец спросила директор. — Помню, помню. Вечно взъерошенный.

— Кажется, с проводкой все же что-то было.

— Было, было, коллега. А вас не пугает, что и в Вильнюсе будет? Что и в Вильнюсе он что-нибудь совершит этакое — на свой страх и риск? Вас не пугает?

— Нет, за Юркуса я спокойна.

— Ну-ну... А вот во мне такой уверенности нет. Я бы не поручилась ни за одного из наших ребят. Сами знаете, какие они — непредсказуемые, несамостоятельные. Слова не держат. Мальчики есть мальчики. С девочками совсем другое дело. На девочек можно положиться. Они в этом возрасте и разумней, и самостоятельнее.

— И...

Директор перебила собеседницу, не дав той договорить.

— Да, да, конечно, знаю. С ними порой труднее, чем с мальчиками. Но ведь речь идет о чисто женских ошибках. И в большинстве своем девочки сами находят выход из ситуации, или, по крайней мере, интуиция их выручает, мальчишки же обязательно вяжутся в передрагу, и, чтобы их выволочь, десяти тягачей не хватит. Иной раз просто диву даешься, где они находят эти неприятности. А нам ничего другого не остается, как обивать пороги комиссий по делам несовершеннолетних и спасать их.

— Вряд ли это имеет отношение к Юркусу.

— Имеет, имеет! Насколько мне помнится, слет в Вильнюсе для активных общественников. А вы говорите — Юркус из одиннадцатого.

— Арманд нельзя упрекнуть в отсутствии отзывчивости и активности.

— Но это не официально зафиксированная активность. Завуч даже вскоčila.

— Простите! Но что важнее — официально подтвержденная активность или конкретный человек?

Директор снисходительно улыбнулась.

— Безусловно, человек! Безусловно! Только не забудьте, из какой семьи этот ваш конкретный человек. Вряд ли он бывал когда-нибудь дальше Валмиеры.

— Вот потому-то поездка на слет Арманду нужнее, чем кому-нибудь другому. И удовольствие, и в то же время стимул. Неужто мальчик этого не заслужил?

Директор еще раз снисходительно улыбнулась.

— А чем же, по-вашему, он ее заслужил? Только тем, что неожиданно для всех одиннадцать лет проучился в школе? Подумаешь, герой! К тому же я сказала, что мальчишкам не доверяю. От них можно ждать бог знает чего. Тем более от таких безнадзорных активистов, как Юркус.

— Арманд человек совершенно самостоятельный.

— Не знаю, не знаю... Знаю только, что вас волнует Арманд, а меня — престиж школы. Не можем мы допустить, чтобы в мероприятии такого масштаба участвовал

человек, который должным образом к нему не подготовлен.

Завуч кипела от негодования, но старалась этого не показывать.

— Возможно, Юркус и в самом деле недостаточно подготовлен, чтобы защитить честь школы, хотя я в этом не уверена, но он как раз из тех, кто учится потому, что хочет учиться, для кого школа не в тягость, для кого школа не развлечение. Будь в каждом классе несколько таких Юркусов, дела наши обострялись бы несравненно лучше.

— Я вам верю и с вами согласна, — сказала директор. — Но что касается слета, в силе останется наш прежний уговор. В Вильнюс поедет Марите. Кстати, в понедельник у меня была ее мать. Интересовалась. Собирается поехать с дочкой. У них там масса знакомых.

— Так, значит, Мара Арая, — подвела черту завуч, хорошо зная, что речь идет о Маре Арае.

— Да. Умная, энергичная, исполнительная девочка. Заместитель секретаря комсомольского комитета школы, участница самодеятельности. Вот в ней я ничуть не сомневаюсь.

— Но может быть, на сей раз...

— Нет! — оборвала директор своего зама. — Вы что, забыли? Когда же это было? Года два назад? Ведь мы отправили в школу-интернат его брата. И этого второго... Двоюродного брата... Нет... Кажется, сына его сестры. Помните? Было такое?

— Да, племянника Арманды. Было, — завуч оставалось только согласиться. Она понимала, что затеяла разговор напрасно. Идя сюда, она в глубине души надеялась, что директор об этом случае забыла, но в очередной раз убедилась — директор не забывает ничего.

— Мы тогда настаивали на лишении родительских прав. Родительских прав лишили обеих. Разве не так? Так! Мальчишек отправили в интернат, а теперь их брата, сводного брата или кем он им приходится, хотим отправить на слет активистов общеобразовательных школ. Ну вы сами подумайте — на что это похоже?

— На то и похоже, на что похоже.

— По-моему, это ни на что не похоже. Получается, что мы зря тогда воевали. Надо было мальчишек воспитывать, и кто знает, может быть, и их со временем можно было бы послать на какой-нибудь слет. Но вы прекрасно знаете, что мы воевали не напрасно.

— Да, странно. Во всяком случае нетипично. Очень нетипично.

— Только вот объяснить это труднее, чем просто констатировать факт. Да и вряд ли сам факт кого-нибудь убедит. А вот кое-что другое заинтересует, а именно — наше нелогичное поведение, наши методы воспитания. Ну где вы видели, чтобы старшего сына, мать которого официально лишена права воспитывать младшего, столь же официально признали одним из лучших учеников в школе? Абсурд! Так что давайте прекратим обсуждать этот вопрос. Начальство нас не поймет. Более того — нам же и достанется на орехи. Начнут еще интересоваться семьей Юркуса. Выяснится, что мать алкоголичка, брат в интернате. Нет, вы только подумайте! А он — образцовый ученик! Ха-ха! — директор нервно засмеялась.

— Жаль! — Завуч вздохнула. Она чувствовала себя усталой.

— Что жаль? — спросила директор.

— Я сказала Арманду, чтобы он меня разыскал. Хотела порадовать мальчика.

— Вы рассказали ему о слете?

— Нет, сказала только, чтобы завтра меня разыскал.

— Попросите его после уроков помочь Ванасу оборудовать кабинет физики. Уверена, Арманд не откажет, ему нравится конкретное дело, да и физик будет доволен.

— Хорошо.

— Значит, договорились! Кабинет физики — до пятницы, в Вильнюс едет Марите, а Юркус с завтрашнего дня помогает физика.

Завуч неохотно кивнула головой. Глянув на часы, она увидела, что прошло еще десять минут.

Все напрасно. Она ничего не добилась.

8

Домой я вернулся без четверти четыре. В квартире стояла тишина, и когда открывал дверь своей комнаты, слышно было, как в кухне из крана капает вода. Монотонный этот звук нагнал на меня жуткую тоску.

Подумал, что вот так по утрам я ухожу никому не нужный, и когда возвращаюсь из школы, до меня тоже никому нет никакого дела. Подумал, что длится это изо дня в день с незапамятных времен и, возможно, будет длиться вечно, ибо, не помня начала, я не предвидел конца. Зато я прекрасно знал — точно так же было вчера, позавчера, и ничто не изменится ни завтра, ни послезавтра.

В семь надо было быть у Индры. До семи оставалось еще три часа. Ясно, что эти три часа станут самой настоящей пыткой. Время вообще тянется как черепаха, если его подгоняешь. Да это вы и сами прекрасно знаете.

Достал спрятанный за книгами толстенный англо-латышский словарь. Вытащил купюры, пересчитал. Девяносто два рубля. Этим летом за месяц в «Лотосе» и полтора месяца на молочном комбинате я заработал двести двадцать восемь рублей. Сшил себе брюки, купил пиджак, туфли и рубашку, после чего осталось сто четыре рубля. А сейчас от всех денег осталось всего девяносто два. Ясно, как ни экономя, к Новому году за душой не останется ни копейки.

Вы, конечно, можете подумать, что я законченный обыватель и все такое, но если честно, я завидую девочкам и ребятам, которым деньги дают родители. Завидую не только из-за денег. Из-за родителей тоже, когда есть и отец, и мать, когда они работают и за них не стыдно. Если разобраться — чего им не хватает? Особенно тем, у кого родители с дачей, машиной, с каким-то еще хутором. Уговорись, садись в машину и езжай куда душа пожелает. Не хочешь — садись в кресло-качалку посреди лужайки и грызи яблоки. Честное слово, завидую. Мне бы хоть крошку от этого . . . Конечно, еще вопрос, чувствовал ли бы я тогда себя самым счастливым человеком на свете, но точно бы не хаял налево-направо предков, как многие, кого я знаю. А то еще хуже — ни с того ни с сего такие колена начнут выкидывать, что и самим несладко, и у родителей голова пухнет. Хотя, кто знает, имей я все это, может, тоже бы думал по-другому. Думал бы так же, как они, и как они, не считал бы рубль за деньги.

То, что они рубль не считали за деньги, злило меня больше всего.

У них просто в этом нужды не было, они и так могли прожить припеваючи (да еще как прожить!). В потолок поплеывая. Отлодать им не приходилось. И электричество в квартире отключали только у тех, чья мать была хронической алкоголичкой.

Так, пересчитывая свои девяносто два рубля ноль-ноль копеек, я пришел к выводу, что по-настоящему человек ценит только то, чего не имеет. И это относится не только к деньгам.

Отсчитал двадцать рублей. Подарок Индре присмотрел заранее, так что голову особенно ломать не пришлось. Осталось семьдесят два рубля. Вложил оставшиеся в словарь, засунул его в полку за книги. Время тянулось чертовски медленно. От нетерпения у меня прямо ноги зудели, но не явишься же на два часа раньше.

Тишину нарушили звуки, донесшиеся из кухни. Кто-то открыл кран. Я услышал приближающиеся шаркающие шаги, и за дверью раздался хриплый голос матери:

— Армандик, ты дома?

— Да, — рыкнул я.

Дверь медленно открылась. В щели показалась неестественно бледная машина физиономия с черными ввалившимися глазницами, из которых смотрели лихорадочно блестящие воспаленные глаза. Жирные свалыющиеся волосы она зачесала за уши и повязала голову платком.

— Армандик, сыночек, хорошо, что ты дома, — сказала мать.

— Чего тебе? — спросил я.

Она стояла молча, вцепившись в дверную ручку, и, честное слово, похоже было, что она вот-вот грохнется. Я тоже молчал.

— Сынок, слышь, одолжи два рубля!

— Не дам.

— Ну дай! Я знаю, у тебя есть. Помираю я. Не видишь, что ли? Ну дай, пожалуйста!

— Да, есть, но я не дам. Завтра сама спасибо скажешь. Иди лучше проспись. Иди, иди . . .

— Заснуть не могу.

Она не уходила. Продолжала стоять в дверях. Поджав синие губы, с укором смотрела на меня. Верьте — не верьте, но это на меня действовало.

— Что стоишь? Сказал не дам — значит, не дам.

— Какой же ты жестокий, какой жестокий, — бормотала мать.

— Ничего другого не остается, — бросил я. — С волками жить — по-волчьи вить.

— Ты, видно, хочешь, чтоб я сдохла?

— Нет, отчего же? Я хочу, чтобы ты перестала пить.

— Ты хочешь, чтоб я сдохла, — повторила она с упрямством алкоголички. — Знаю, хочешь, чтоб я сдохла. Хорошо. Сейчас. Вот здесь, на ровном месте, раз тебе так хочется. На твоих глазах, сынок, я и сдохну.

— Ну так и сдыхай, если по-другому не можешь, — согласился я, — цветы и венки гарантирую. Можешь не волноваться. И на гроб деньги раздобуду, а на водку не дам. Ни копейки. И не надейся!

— А еще сын называется!

— Точно, называюсь.

Она все еще стояла в дверях, с укором глядя на меня.

Неожиданно мне вспомнилась совсем другая картина. Тогда в дверях стоял я, и было это давным-давно. Мать шла на меня, держа в поднятой руке ремень, а я, дрожа от страха, кричал: «Не бей, мамочка! Не бей, пожалуйста! Милая мамочка, не бей! Пожалуйста, мамочка!»

Она не слушала меня, она размахнулась и ударила изо всей силы. От боли и страха я поперхнулся собственными словами. Втянув голову в плечи, я дергался, жадно хватая воздух и пытаюсь руками закрыть лицо. А она била и била, и не могла остановиться, и все повторяла: «Я из тебя выбью это упрямство. Я тебя убью, урод, но упрямство выбью. Я выбью из тебя это упрямство».

Но странно, она меня била, а страх мой стал проходить. Я перестал кричать, перестал просить и даже перестал дрожать. Стиснув зубы, я стоял в дверях. Стоял, втянув голову в плечи, закрыв лицо ладонями. Не помню, за что она меня порола, но помню, что мать была пьяна и выпорола меня ни за что. И хотя по рукам и по лодыжкам сочилась кровь, хотя ремень со свистом врезался в тело, больнее всего жгла несправедливость.

А потом она после пьянки перестала ходить на работу, а если я ее будил по утрам, гнала меня, ругалась и продолжала храпеть. Малыши находились в круглосуточном садике, во второй половине дня в квартире стоял пьяный ор, а по утрам меня пугала тишина. В этой тишине таилась неотвратимая угроза, которой я боялся больше, чем скандала.

Я не понимал, почему у мамы так меняется во сне лицо, почему она часто спит, не раздеваясь, и все чаще по утрам будильник звонит напрасно. Я тряс ее за плечо, пытался стащить с нее одеяло, умолял со слезами на глазах: «Вставай, мама! Ты опоздаешь. Тебе надо на работу». «Отстань! Житья от тебя нет, — говорила она со злостью, отталкивая меня. — Никуда я не опоздаю. Никуда мне не надо».

«Вставай, мама, вставай, вставай . . .», — повторял я, стоя босиком возле ее кровати.

«Хватит, я свое отрубил. Пора и отдохнуть. У меня начались каникулы. Большие римские каникулы».

При этих словах она хрипло смеялась. И я понял, что никакие это не каникулы, что все она врет.

Такие вот дела. Так что мне ничего другого не оставалось, как одеваться и идти в школу. На первом же уроке я начинал с нетерпением ждать завтрака, потому что тогда я был еще пацан и не умел даже вскипятить чайник. К счастью, в школе я быстро забывал про мать и не вспоминал о ней до обеда. Я нырял в школьную жизнь, как окунь, счастливо избежавший крючка.

— К сожалению, имею честь. Я действительно считаюсь твоим сыном, — добавил я, в то время как она неподвижно стояла в дверях, смотрела на меня с укором и, поджав синие губы, молчала. — Ну? Чего ты еще ждешь? Дебаты кончились. Точка. Решение принято единогласно. Господа подписывают протоколы. Убирайся, слышишь! — Меня трясло, но я старался держаться.

— Какой ты жестокий, Арманд!

— Этот вопрос мы уже обсудили.

— И сквалыга . . . Двух рублей жалко, да?

— Товарищи, докладчик свихнулся! Ничего мне не жалко.

— Не было б жалко, не пришлось бы мне просить.

— Никто и не заставляет тебя просить.

— Ты что же, не понимаешь, что мне плохо? Не понимаешь, что я помираю?

— Нет, не понимаю, — ответил я, уже поостыв. — Не надо было пить. И вообще . . . Вообще иди-ка ты лучше спать.

Я встал, неторопливо разжал ее пальцы, которыми она, будто ища спасения, вцепилась в дверную ручку. А потом вытолкнул мамашу из комнаты.

Закрыв дверь, я услышал, как отдаляются шаркающие шаги. Через минуту в кухне из крана снова полилась вода.

Вспомнилась бабушка, которая на самом-то деле не была мне никакой бабушкой, а какой-то дальней родственницей. Если я что-то смыслю в родословной, то вроде двоюродная сестра мамашинной матери по отцовской линии. Не знаю почему, но в таких ситуациях я всегда вспоминаю о ней. Как только жизнь моя теряет равновесие или в столкновении с банальной действительностью у меня бессильно опускаются руки, тут же вспоминается бабушка.

Пять лет назад она умерла. Я знал, что в последние полгода она сильно болела. Вернувшись с похорон, мать сказала — в гробу ее и узнать нельзя было, так она исхудала. Меня на похороны она не взяла. А до этого даже не разрешила съездить проведать.

И возможно, потому бабушка запомнилась мне маленькой, шустрой седой старушкой с морщинистым обветренным лицом. Склонившись надо мной, она в который уже раз повторила:

«Распутывай осторожно, мальчик! А порванные ниточки свяжи. Пальчики у тебя молодые, ловкие. Больше помочь мне некому!»

Пыхтя от усердия, я разматывал запутанный кошкой моток ниток.

Распутывал узлы, пока не приводил в божеский вид. Вытаскивал нитку за ниткой. Связывал концы, порванные мной или еще раньше.

«Всю жизнь вот так-то . . . Ниточка за ниточкой, а в конце, глядишь, и длинная нитка получится, — навсегда остался в моей памяти шепот бабушки. — Распутывай осторожно, мальчик. А порванные связывай. Пальчики у тебя молодые, ловкие. Еще не раз в жизни доведется концы связывать. Ох-хо-хо, сколько придется связывать да разматывать. Да и кто другой за тебя это сделает».

Запомнилась интонация, с которой она произносила эти слова, хотя с тех пор прошло много лет, за эти годы слышал я немало и других слов — ведь к бабушке, которая вовсе и не была моей бабушкой, я попал, как только научился ходить. Это время я, конечно, не помню. Зато очень хорошо запомнилось все, что происходило потом. Да хоть бы тот же первый школьный день. Потому что в школу я пошел в деревне. В тот год и мать родила, и Гуни-та, так что обо мне никто и не вспоминал. В Ригу я вернулся, когда надо было идти в третий класс. Но и потом

каждое лето я проводил в деревне, пока однажды в какой-то августовский вторник не распрощался с бабушкой навсегда. Зимой она промучилась, а весной умерла.

Маленькая, шустрая, седая старушка с темным от солнца и ветра, изрезанным морщинами лицом наклоняется надо мной и в который уже раз повторяет:

«Распутывай осторожно, мальчик!»

Со временем я понял смысл этих слов. Но только со временем . . .

На часах было половина шестого.

Дольше высидеть дома я не мог. Вскочил и чуть не бегом бросился из дома.

В магазине игрушек купил подарок — ярко-желтого пушистого кота.

Я решил подарить Индре смешного, чуть не полуметрового зверя. Но как только я его купил, желтый кот сразу перестал мне нравиться. Больше того — мне стало стыдно, я испытал какое-то даже чувство неловкости. И чего это мне вздумалось всучить ей этого желтого уroda?

«Где я был раньше?» — ругал я себя, не в состоянии осмыслить это мистическое превращение, так как буквально за минуту до этого был в диком восторге от своего подарка.

Продавщица категорически отказалась взять кошку обратно. Она была счастлива, избавившись наконец от пушистой игрушки, что недвусмысленно свидетельствовало о ценности этого уникама. В жизни бы его никто не купил, не появившись Арманд Юркус.

Сунув подарок под мышку, я полпелся к Индре. Прохождение, не все, конечно — те, что полюбопытнее, — оглядывались. Их нездоровое любопытство повлиять на меня не повлияло, но все-таки сохранить на лице хоть маломальское достоинство стоило мне усилий. Чувствовал я себя последним идиотом и догадывался, что со стороны вообще выгляжу законченным болваном. Хотелось гваздануть кошкой по стене, а самому смыться.

«Чего тарачишься! Чего тарачишься!» — ругал я прохожих, злясь на себя.

9

— Ой, какой хорошенький! — сказала Индра и сунула кота в кучу подарков.

Больше она о нем не вспоминала. Гибрид тигра и пуделя цыплячьего цвета, тупо уставившись коричневыми стеклянными глазами на мир, лежал в компании свертков, коробочек, металлической вазочки, украшенной восточным орнаментом, смущая присутствующих яркой окраской и громадными размерами. Сюрприз не удался, хотя гости, до этого бесечно болтавшие, при виде моего подарка мгновенно смолкли. Я готов был держать пари, что это чудовище обладало сверхъестественной способностью влиять на человеческую психику. Я уже начал сомневаться, кот ли это вообще.

— Где ты отхватил эту мечту самоубийцы? — спросил Мартыньш, и мне стало еще хуже. — Страшный kot sintetisckij, — произнес он, пытаясь сострить. — Увидит дитя раз в жизни этакое чудо, всю жизнь по ночам вскакивать будет или от страха писать в постельку.

— Откуда ты знаешь? Из собственного опыта? — я решил отыгаться.

Но ведь Мартыньш, стоит ему только открыть рот, начинает токовать как глухарь на токовище и никого не слышит, кроме себя.

— Индра! Слушай, Индра! Мощный подарок, а? Сможешь детишек пугать, если не будут слушаться, — захлебывался этот тип, развалившись в мягком кресле.

Рядом, во втором кресле, примостилась Агита, лучшая подруга Индры. У окна стояла любимица нашей Мамуси, чуть не круглая отличница Элина, которую я и узнал не сразу — вылитая фифочка из финского журнала мод.

— Чао, Арманд! Что уставился? — спросила Элина, помавав мне рукой с погремушками на запястье. Брякнули пластмассовые браслеты.

— Ча-а-ао! — протянул я.

Прямая, как линейка, Мара Арая, Дидзис, уместивший свои ручки на коленях, малышка Илона, казавшаяся почему-то еще меньше, и Эджус сидели на диване. Дидзис, зажатый девочками, чувствовал себя не в своей тарелке. Больше наших не было. Так что все это — что Индра пригласила весь класс, — оказалось слухами.

В комнате вертелись еще двоюродный брат Индры и Аэлита — странная личность, без которой не обходилась ни одна вечеринка, но кто она, я так до сих пор и не знаю — то ли дальняя родственница Индры, то ли подруга детства.

Сама Индра как челнок сновала из комнаты в комнату.

— Здравствуй, Арманд! — войдя, поздоровалась со мной мама Индры. — Давно тебя не было видно. Как дела?

— Спасибо! Нормально.

— Последний год остался. Одиннадцатый . . . и прощай, школа.

Она сказала это, обращаясь ко всем, но могу поспорить — главным образом ко мне.

— Еще чуть-чуть, и сядем за стол, — через минуту сообщила Индра. — Я попыталась нарушить традицию застолья, но . . . — она развела руками, — силенок оказалось маловато.

— Какое счастье! — буркнул Мартыньш. — Что это за юбилей без аппетитной копченой курочки.

— Скажи лучше, что именно курочки и завлекли тебя сюда, — добавил Эджус.

— Не только.

— А что еще? — спросила Агита.

— Ну конечно, ты, Агита, лакомый кусочек!

— Очень надо!

В дверь позвонили.

— Ты можешь вести себя прилично? — принялась воспитывать Мартыньша Мара, когда Индра пошла открывать.

За спиной раздался смех. Я выглянул в коридор, решив, что пришел кто-то из наших. Но это оказались не наши. Девушку и ребят, которые наперебой поздравляли Индру, я видел впервые. Один из них сунул юбилярше под мышку длинный сверток, сопровождая свой жест заздоровной песней:

— Поздравляем, поздравляем,

Счастья навек желаем . . .

Второй, протягивая цветы, наклонился и поцеловал Индру. Видели бы вы, как он это сделал — просто, непринужденно, буднично и в то же время нежно, будто целовал ее уже бог знает сколько раз. Индра даже на цыпочки привстала. Будто они всю жизнь только и делали, что целовались. Честное слово!

Я остолбенел.

— Спасибо, Илгвар! — тихо произнесла Индра и так на него посмотрела (черт, как она на него посмотрела!), словно этот хмырь был ангелом, спустившимся на землю с заоблачных высей. — Спасибо тебе, спасибо . . .

А каким сладеньким голоском она это произнесла! Театр, да и только!

Я отвернулся, и на глаза мне попался столик с подарками. Среди них — ядовито-желтый кот с блестящими засыпанными коричневыми стекляшками вместо глаз. В это мгновение внутри у меня что-то со звоном лопнуло. Так, как лопаются туго натянутая гитарная струна. Острый конец ее вонзился прямо в мое тело. Наконец я все понял. Так вот над чем я напрасно ломал голову на уроке математики! Вот он, ответ!

— Знакомьтесь — это мои одноклассники . . . — Индра сказала это так, словно демонстрировала не очень ценные, но все-таки достаточно древние археологические находки, однако вид у нее при этом был все-таки смущенный. Один из тех редких случаев, когда я видел ее смущенной. — А это Дайнис, Илгвар и Анда.

Высокий, который осчастливил Индру цветами, — это и был Илгвар, — поклонился.

— Мои . . . — продолжила Индра, — мои соседи по даче. Будущие медики.

Индрина мама пригласила нас к столу. Гости засуетились. Скванность таяла, как снег на солнце. Зашаркали подошвы. Я стоял и смотрел, как они выходят из комнаты.

— Извините! Пожалуйста, пожалуйста! Девочки, смелее! Эдж, займи мне место! Подождите, дорогие, не все сразу! Еще застрянете!

— Арманд, ты что? Не пойдешь? — спросила Индра.

Она улыбнулась, и на щеках появились две ямочки.

— У-у-у! Арманд!

Хоть убейте, но она была красивая. Девочки красивей я в жизни не видал.

Хотелось резануть, что никуда не пойду, но улыбка Индры меня в очередной раз обезоружила, и я, как баран, понурился голову, полпелся за остальными.

В большой комнате за столом сидело около десятка взрослых.

До чего же мне действовали на нервы все эти их: «О, вот и наша молодежь! Посмотрите, молодец к молодцу!» Что касается меня, я молодцом отнюдь не выглядел.

Индра села рядом с Илгваром.

В комнате стояла жара. Я почувствовал, как под рубашкой потекли ручейки.

На них старался не смотреть.

Я завидовал Мартыньшу, человеку без комплексов, который ловко манипулировал столовыми приборами, в то время как я, сжав в руке вилку и нож, ковырялся в тарелке, стараясь ничего не опрокинуть, не уронить на колени или на пол.

За столом, уставленным едой, мне всегда не по себе. Из опыта знаю, что рыбу и куриные ножки лучше не трогать: тут уж как пить дать попадешь впросак. Сиди потом как дурак с костью во рту, не зная, что с ней делать. Поэтому сначала я принимался за всякие салаты, колбасы и ветчину. Однако труднее всего было притворяться равнодушным при виде уставленного всякой едой стола, при виде всей этой вкуснятины, которая большинству вкуснятиной вовсе не казалась. Попробуйте-ка вилкой и ножом с достоинством гонять по тарелке зеленый горошек, когда рот наполняется слюной, а желудок пульсирует от восторга, получив информацию, которую передали ему глаза и ноздри.

— Положить еще немного?

— Нет, спасибо.

— Еще чуточку. Не пожалеете!

— Нет, нет. Спасибо!

Я героически глотал слюну, завидуя Мартыньшу, который без зазрения совести грузил на тарелку все, до чего мог добраться. Он мог себе это позволить. Мартыньша никакие комплексы на мучили. Мне же постоянно надо было быть начеку, чтобы не стать рабом своего вечно голодного желудка, и комплексов у меня было как у собаки блох.

Проклятый желудок требовал отшвырнуть все столовые приборы и, забыв о приличиях, хватать еду руками.

— Я положу вам салата. Прекрасный салат!

— Спасибо! Не надо!

— А холодца? Смотрите, какой красивый холодец!

— Спасибо!

Заботливая соседка, видно, хотела прикончить меня своими салатами и холодцами.

— Так нельзя, молодой человек! Хозяйки обидятся. Взгляните сюда! Какая печеночка с сыром!

— Да . . . Спасибо, спасибо! Достаточно.

— Ну, это уж слишком! Чего вы стесняетесь, молодой человек?

В общем-то она была права. Чего я стесняюсь? Самого себя, что ли? Скорее всего.

После каждого такого застолья перед глазами долго еще маячили уставленные едой столы. Исходя слюной, я вспоминал разносолы, от которых отказался. Но стоило мне очутиться за столом рядом с какой-нибудь заботливой тетушкой, которая тут же начинала предлагать мне то одно, то другое, как неизвестно откуда выскакивало это непотопляемое: «Спасибо, не хочу!»

В комнате становилось все жарче. Я почувствовал, как

на лбу выступили капельки пота. Гости сидели за столом так тесно, что я не знал, куда девать локти, чтобы никому не мешать. К тому же я просто-таки глаз не мог оторвать от Индры и этого хмыря Илгвара. Я просто физически ощущал в груди боль от порванной струны. Я даже попытался нащупать болезненное место. Индра, я это заметил, тоже почти ничего не ела, хотя Илгвар время от времени ей что-нибудь предлагал.

«Интересно, где они познакомились, — думал я. — Индра сказала — соседи по даче. Значит, этим летом? А может быть, прошлым? Нет, скорее всего этим. Также мне будущий медик! Хлюст. Настоящие студенты в строительных отрядах вкалывают, а этот ферт пляж утюжил. Ясно, что не из настоящих ребят. Хотя фасад подходящий. Терпеть можно. Еще бы — не станет же Индра со всяким путаться. Поставить бы тебе фингал под глазом, хлюст ты этакий. Ох и надо бы!»

Больше ничего придумать я не успел.

Я смотрел на них через стол, а в душе была такая пустота, что страшно делалось. И в этой пустоте жалобно звенела, раскачиваясь, порванная струна.

Я вспомнил бабушку, которая говорила:

«Распутывай осторожно, мальчик! А порванные ниточки связывай».

А тут что можно было связать? Ничего! Нить, которая прежде легко скользила сквозь пальцы, вдруг запуталась в узел и порвалась. И соединить концы было не в моих силах. Не понимаю, почему я все еще сижу за столом между двумя заботливыми тетушками и смотрю, как те двое, глупо улыбаясь, таращатся друг на друга.

Первая капля пота стекла по лицу.

— За здоровье именинницы!

— Индра, будь счастлива!

— Молодой человек, а вы почему такой мрачный?

— И вовсе я не мрачный. — Я с усилием показал тетушке зубы.

— Арманд у нас в классе самый выразительный молчун. Он не просто молчит, а молчит с выражением.

— Не положить вам заливного? Ма-а-аленький кусочек.

— Нет, нет, спасибо!

Тетушка эта, должно быть, хотела меня окончательно добить. Улыбаясь и держа в руках тарелку с салатом.

Локти мои меня доконали — я не знал, куда их деть, боялся кого-нибудь нечаянно толкнуть или случайно захватить ими в чужую тарелку. Складывал их и так, и эдак. (Странно еще, как это они с шарниров не соскочили.) Я, можно сказать, был почти в нокдауне, когда мучения мои наконец кончились. Первым поднялся двоюродный брат Индры. А когда в соседней комнате зазвучала музыка, встали и остальные.

— Молодежь решила размяться.

— Дай же им пройти! Ну уж ты прямо...

— Индрочка, кофе тогда потом.

— Хорошо, мама!

— Их сейчас интересует кое-что другое.

— А тебя что, не интересовало?

— Разве ж я говорю, что не интересовало?

— Ничего, ничего, пусть дети порезвятся, сколько можно сидеть.

— Внимание! Танцы! Внимание! Начинается танцевальный марафон. Первый танец, как обычно, танго, — громкогласно объявил Мартыньш, кланяясь во все стороны, как заведенный.

— Разве молодые танцуют танго?

— Постараемся, почтенные! Вприпрыжку, если понадобится... — Мартыньш, стоя в дверях, поклонился еще раз. — Не понимаю, почему толчея, почему столпотворение, почему хаос? Быстренько по местам! Мальчики приглашают девочек! Девочки приглашают мальчиков! А ну-ка, живо, живо! — голос Мартыньша доносился уже из прихожей. После чего, брэнча спичечным коробком, они с Эджусом выскользнули на лестницу покурить.

Кучка несчастных неловко топталась на месте, пытаясь имитировать танец. Арая вытолкнула на середину комнаты Дидзиса, который скорчил такую физиономию, словно

ему угрожала публичная порка. Илгвар открыл окно.

— Надеюсь, девочки не замерзнут.

В комнату вместе со струей прохладного воздуха хлынул уличный шум. Шуршали шины, скрипели тормоза, на перекрестке громыхали грузовики.

Перегнувшись через подоконник, Агита вытянула руки. С минуту стояла она так, пока дождь не замочил рукава ее блузки, потом, метнув пронзительный взгляд на Дайниса, скользнула в кресло. Дайнис, наклонившись к двоюродному брату Индры, читал надписи на кассетах.

Ничего себе будущий медик! Шевелит губами, как самый настоящий неуч.

— Индра, надо поговорить, — сказал я, воспользовавшись тем, что мы оказались рядом.

— Но не сейчас, Арманд!

— Как раз сейчас!

— Не смей людей! О чем надо поговорить? И так все ясно.

— Именно поэтому я хочу с тобой поговорить.

— Какой в этом смысл?

— Смысла никакого, но все равно выйдем на балкон.

Слышишь, Индра? — настойчиво повторил я.

Она смерила меня взглядом с ног до головы, словно хотела убедиться, что я — это и в самом деле я, а может быть, оценивала мои умственные способности.

— Хорошо. Только обещаю, что не сделаешь глупости.

— Не беспокойся! Вниз не прыгну.

— Нет, пообещай, что не сделаешь глупости.

— Могу и пообещать, если тебе так хочется.

— Честное слово?

— Клянусь.

— Хорошо, но только на пять минут. Не больше. Сам понимаешь — гости.

Ветер подхватил занавеси.

— Ты куда, Индрочка? — воскликнул Илгвар, увидев, что мы выходим.

— Я сейчас вернусь.

— Может быть, тебя проводить?

Ненормальный. Индра же ему ясно сказала, что сейчас вернется, а он нет, не понимает. «Может быть, тебя проводить?» — мысленно передразнил я его.

Балконы на доме были роскошные, под стать самому дому — массивные, солидные, с металлическими решетками. Для того, чтобы попасть на балкон, нам пришлось подняться на лестничную площадку между этажами и пройти мимо Мартыньша и Эджуса, которые стояли, опершись на лестничный парапет, и курили.

— Голубки решили на свежем воздухе поворковать, — пробасил Эджус.

— Заткнись, эхо! — рявкнул я.

— Похоже, назревает скандал! — хихикнул Мартыньш. — Эдгар, быстро — чью сторону держим? Мордобойчик намечается, к бабке не ходи. Арманд уже явился не в духе.

— Не тарахти! — сказала Индра, и вид у нее был при этом точно такой, с каким она, защищая нашу дружбу, с учебником математики в руке набросилась когда-то на того же Мартыньша.

Но, поднимаясь по лестнице, она улыбнулась, потому что это была уже не та Индра, а совсем другая девочка. И Мартыньш, облокотившийся на решетку перил, был уже не тот Мартыньш. В конце концов, и я за эти годы изменился до неузнаваемости. Не понимаю — радоваться этому или радоваться не стоит.

С резким скрипом отворилась балконная дверь.

— Я слушаю, — сказала Индра.

Как обычно, когда я собирался сказать что-то серьезное, не мог связать двух слов. Вот и тут запинался, мычал, мялся, пока наконец не выдал:

— Ясно... теперь ясно, почему ты в последнее время... вела себя... была... такой странной. Лучше поздно, чем никогда. Почему ты раньше ничего не сказала?

— Чего ничего?

— Не притворяйся! Сама знаешь.
— Об Илгваре?
— Нет, о нас. О том, что на всем крест . . . Что больше ничего нет . . . и вообще . . . — и тут я стал заикаться.
— Но ведь ничего и не было, Арманд!

Огоротив меня таким ответом, она деланно захохотала. Смех ее причинил мне такую боль, которая не могла и сравниться с уколом той треклятой проволоки, потому что я ясно видел, что смеяться ей вовсе не хочется.

— Как не было?
— А вот так! Не было. Ничего не было. Вначале только мамина идея: тебя, мол, надо морально поддерживать, так сказать, взять над тобой шефство, вовлечь в коллектив, чтобы ты — умный и симпатичный мальчик . . . — она снова засмеялась, — . . . не сбился с пути, потому что только у тебя из всего класса родители алкоголики. Остальные были типичными детьми центра, которых мамы и папы поместили в хорошую школу. Вид у тебя был просто-таки жалкий. Не помнишь? Ты не мог ни показать себя, ни настоять на своем. Ничего не мог. Молчал и краснел, краснел и молчал. Вот мне и стало тебя жалко. Моя гуманная мама сказала — тот, кто сильнее и живет в более благоприятных условиях, обязан помогать тому, кто слабее и находится в худших условиях. И еще она сказала, что если ты споткнешься, виноваты будем мы все — кто был рядом. Так незаметно она меня заговорила. И именно под влиянием маминого благородства жалость превратилась . . . ну, скажем так — в желание действовать.

Индра говорила и смотрела вдаль. Смотрела поверх крыши, поверх деревьев. Вот оно как! Я стоял на балконе, слушал, и ее слова, взрываясь во мне, медленно погружались в глубину, пока смысл их не дошел до меня полностью. Вот оно как! А я, наивный, думал, что по крайней мере в наши отношения с Индрой не замешана моя мать-алкоголичка.

— Мамочка предложила мне сесть с тобой за одну парту, предложила чаще приглашать тебя в гости. Это мамочка предложила, а не я сама придумала.

— Ах вот как . . . — сказал я почти беззвучно.

— А поскольку ты оказался человеком сообразительным, со временем я забыла, что дружбу нашу придумала она, — продолжала Индра.

— Спасибо! — сказал я.

— За что?

— За сообразительного.

— Пожалуйста . . . К сожалению, все обстояло именно так, Армандик . . . И больше ничего не было. Нет смысла и дальше играть в прятки. Пора сказать правду. Мы повзрослели. Со временем Арманд Юркус научился себя защищать, отстаивать свое мнение, и теперь ему больше не нужна нянька, не так ли?

— Что?

— Нянька, — повторила она.

Мне стало холодно.

Значит, это был эксперимент. И мне в этом эксперименте была отведена роль кролика. Прискорбный факт. Цель эксперимента — кормить кролика из рук до тех пор, пока у него не вырастут зубы. Благородно звучит, если смотреть со стороны. Но кому охота быть кроликом — хоть в каком благородном эксперименте. К черту такой гуманизм! Тьму кроликов таким образом во имя еще более высоких целей приучают сначала есть из рук, чтобы в один прекрасный день взять и распотрошить.

— Помнишь, ты однажды сказала, что я похож на Алена Проста? Помнишь? Ты говорила всерьез?

Вдруг мне это показалось ужасно важным, сам не знаю почему. Любой ценой мне понадобилось узнать, серьезно ли она тогда говорила.

— Помнишь? Ну попытайся вспомнить . . .

Но она ничего не помнила. Она об этом забыла. Она забыла все.

— На какого Алена? — переспросила Индра. — На какого Алена? Ты про Делона? Про актера? — И она фыркнула.

Я повернулся и неторопливо стал спускаться по лестни-

це. На площадке возле дверей никого не было. Очевидно, Мартыньш с Эджусом зашли внутрь.

Я шел медленно, осторожно, словно подо мной был прозрачный тонкий лед. Тонкий, еще прозрачный лед, под которым видны были ржавые водоросли, сгнившие куски дерева и бороздки, прочерченные в песке улитками. Я боялся, что лед вот-вот начнет ломаться под ногами, и я ухну в воду. Но, как ни странно, никуда я не ухнул. На душе было точно так же, как в те дни, когда, вернувшись из деревни, я увидел, что каменная стена перед моим окном из коричневой стала ярко-желтой. Помните? Такого же идиотского желтого цвета, как пушистый кот с коричневыми стеклянными глазами, которого я подарил Индре. Стена выкрашена, и трещины исчезли. А вместе с трещинами исчезли и мои уродцы на каменной стене. Змей с огромным мечом. Пастушок, играющий на дудочке. Танк, автомашины и страшный бородатый старик.

«Не бойся, малыш, если ниточка порвется. Знай себе связывай. Спешить тебе некуда», — склонившись надо мной, шептала маленькая седая старушка, которую я называл бабушкой, но которая на самом деле не была моей бабушкой.

Ее советом я воспользоваться не мог. Здесь ничего нельзя было связать. Но я подхватил ее слова, словно знамя, расправил плечи и вышел, с грохотом захлопнув дверь парадного.

10

Домой идти не хотелось. Никто там меня не ждал. Отправился бродить по улицам. Шел куда глаза глядят. Когда совсем стемнело, дождь полил сильнее.

После того как я оставил Индру на балконе, а сам по тонкому, хрупкому льду спустился вниз, вспоминая давнее лето, проведенное в деревне, вспоминая перекрашенную незнакомыми малярами стену в шахте перед моим окном, я шел куда ноги несли. Шел все вперед и вперед и ни разу не оглянулся. В то давнее лето под желтой краской исчезли трещины и трещинки, которые не раз оживали в моем воображении, превращаясь в конкретные образы — в друзей и врагов, когда я, томимый скукой, целыми днями играл с самим собой. Тогда и узнал я, что такое одиночество.

Я шагал, не оглядываясь. Размышляя о том, что я такой же неудачник, как Алэн Прост. Или того хуже — настоящий неудачник из глупой французской кинокомедии. Может, со стороны все случившееся могло кого-то расшевелить до колик. Зато оказался этот кто-то на моем месте, ему было бы не до веселья.

Мне было грустно.

Нет, грустно не то слово. Было тошно. Так тошно, что хоть застрелись.

Но мне оставалось одно — стиснуть зубы и задавить в себе все чувства.

«Никто мне не нужен, никто не нужен, — заклинал я сам себя. — Отгородиться бетонной стеной, засесть в башне собственного танка и смотреть на мир сквозь смотровую щель. Отстаньте от меня все, потому что и я ничего не хочу о вас знать!»

Я шагал, не разбирая дороги. Холодные капли стекали за воротник, мокрые волосы налипли на лоб, руки в карманах замерзли. Внезапно заметил, что на улицах совершенно пусто. Навстречу попадались редкие прохожие, спасающиеся от дождя под зонтами. В свете фонарей тускло блестел тротуар, отражаясь в витринах.

Под аркой ворот возле кафе «Росток» стояли две самые настоящие шлюхи.

— Эй, пареня! — окликнула одна из темноты.

— Сигаретки не найдется, приятель? — улыбаясь, спросила вторая.

— Не курю, — ответил я, притормаживая.

— Мама не велит?

— А ты откуда знаешь мою маму?

Та, что попросила сигарету, демонстративно взгромоздила ногу на каменный столбик возле ворот. Толстая

ляжка так и колыхнулась. Холодец и только. А считает, видно, что выглядит сногшибательно.

— Что тарачишься? Хилляй домой, детка, а то устроят тебе порку.

И обе принялись хихикать.

Ничего не скажешь — убийственная шуточка. До чего ж мало надо некоторым. Разукрасились они на всю катушку и изображали из себя важных дам. На спор, обоим не было и шестнадцати.

— Только не упишайтесь от восторга, — посоветовал я и вошел в кафе. Постоял возле гардероба, пока глаза не свыклись со светом, уши с шумом, а нос с сигаретным дымом. Было поздно. Публика, слонявшаяся между гардеробом и туалетом, выглядела порядком нагрузившейся.

Подошел к зеркалу причесаться и за спиной в баре увидел Агриса из нашего класса. Рядом с ним сидели Таливалдис и незнакомая девчонка. Она сидела спиной ко мне, и лица ее я не рассмотрел.

Таливалдиса я знал еще с тех времен, когда мы оба ходили в кружок современного танца. Меня туда затащила Индра. Таливалдиса привела бабушка. Кажется, у него тоже не было отца. Зато мама работала в какой-то важной конторе и только и делала, что заботилась о своем сыночке. В отличие от меня у Талиса всего было навалом. Одевали его в фирму с головы до ног. Он хвастался, что раньше танцевал в «Дзинтариньше», учился в музыкальной школе, играл в теннис и занимался фехтованием. Весной, перед самым смотром, мы незаметно слиняли из кружка. Я ушел потому, что шансов хоть на мало-мальский приличный костюм и рубашку у меня не было, не говоря уж о непременной бархатной бабочке. Таливалдис потому, что не желал обременять себя каким-то там еще смотром. И так он всю зиму честно валял дурака, приходил на занятия для того только, чтобы потрепаться с девчонками, которые, между прочим, таскались за ним как пришитые.

Для меня знакомство Агриса с Талисом оказалось неожиданным. А пока я стоял у зеркала, причесываясь и размышляя таким образом, они заметили меня и замахали руками, приглашая к себе.

— Вот не знал, что и ты кафе посещаешь, — сказал Агрис, когда я, подойдя, здоровался с ним за руку.

— Дождь. А домой дико идти не хочется, — ограничился я.

— Сдохнуть можно! Это же Арманд! — Таливалдис вскочил, и я понял, что он тоже порядком навеселе. — Зануда Арманд!

Обхватив меня правой рукой, левой он принялся хлопать меня по спине.

— Года два не виделась.

— Не считая встречи у «Сакты».

— Это не в счет, хоть сдохни!

Да, с месяц назад столкнувшись носом к носу у «Сакты», мы едва успели крикнуть друг другу «Чао!». Таливалдис торопился. Зато сейчас он не отпускал меня, мял, толкал, хлопал по спине, словно я был бог знает каким американским дядюшкой, прибывшим прямым из Массачусетса с полным чемоданом шедевров американской промышленности. Удивительно еще, как он не отбил мне почки. Ей-богу, некоторые, стоит им выпить, делают из насзойливыми до idiotизма.

Наконец Таливалдис утих. Видно, ему просто надоело хлопать меня по спине и без конца повторять: «Сдохнуть можно!»

— Рудите, сдвинься! — обратился Агрис к девушке.

Держа в вытянутых пальцах незажженную сигарету, она молча пересела на соседний стул.

«Ничего особенного, — решил я, — девчонка как девчонка».

Вообще-то в голубой блузке и юбке в обтяжку девушка выглядела совсем ничего. Заметно было, что и она навеселе.

«А в общем ничего особенного», — подумал я снова.

Подошла барменша и забрала пустые бокалы.

— Еще по коктейлю! — крикнул Таливалдис.

— Мне кажется, вам хватит, — ответила барменша по-русски.

— Что за речи, хозяйка? До-ста-точно . . . Odin nebolšoj žņars nikogda ne pomešāet. I vse ol raīt, как говорят настоящие латыши. Мы же помогаем вам выполнять план. Выпьешь? — спросил он, обернувшись ко мне.

Я отказался.

В какое-то мгновение, в одно-единственное мгновение я почувствовал искушение сказать «да!»

Да, да, да!

Уступить этому искушению и напиться. Напиться в честь Индры, в честь того, что я, простак, наконец узнал правду — наша дружба, оказывается, фикция. Я открыл было рот, чтобы ответить утвердительно, но тут же очнулся. Это же просто-напросто трусость. И больше ничего. А я — последнее ничтожество. И полушки не стою.

Посмотри-ка на него — стоило ему узнать, что девчонка обвела его вокруг пальца, тут же обо всем забыл и разнюнился. Легкий удар под дых, да, болезненный, да, нанесенный запрещенным приемом, и он тут же скис. Тряпка! Дурак в квадрате! Ведь от этого ничего, ну ничегошеньки не изменится. Наоборот, только усложнит и без того сложную жизнь. Будто мне это не известно.

Съели? Не выйдет! Зря стараетесь!

«Меня так просто не возьмешь. Дешевый трюк», — подумал я и выпалил:

— Нет!

Мгновение слабости было позади.

— Арманд у нас не пьет, — сказал Агрис с презрительной иронией, за которой угадывалась зависть. — Он у нас агнец божий.

— Издеваешься? — Таливалдис, ничего не понимая, заморгал глазами, набычился и закачался на высокой табуретке.

— Да не издеваюсь. Я не пью.

— Ты кто — баптист, аметист или принципиальный?

— Если хочешь — в принципе не пью, — сказал я, и он отстал.

Таливалдис опять привязался к барменше, а Рудите, впервые с тех пор, как я подсел к ним, посмотрела на меня с некоторым интересом — примерно так, как смотрят на живого человека. Не заметил, когда она успела зажечь сигарету, которая дымилась и тлела, зажатая в ее пальцах.

И тут Агрис задал вопрос, которого я боялся, хотя он был настолько логичен, что подсознательно я его давно ждал.

— Разве тебе не надо было сегодня к Индре? — спросил он.

— Надо было.

— Не пошел?

— Почему не пошел? Пошел.

Говорить об этом мне не хотелось, но Агрис не унимался. Всегда найдутся люди, которым и дела нет, хочешь ты говорить о чем-нибудь или нет, они знай себе пристают со своими глупыми вопросами. Просто из любопытства.

— Ну и?

— Что — ну и? — переспросил я.

— Вероятно, не ахти как и было? Я так и знал, что ничего особенного там не будет.

— Почему ничего особенного? Здорово все было. Еще какой кайф, но мне, к сожалению, по личным мотивам пришлось уйти.

Это Агриса поразило. Он, конечно, чувствовал, что я вру, и так увлекся, переваривая сказанное, что принялся грызть ногти.

— А кто там еще был?

— Тьма всяких. Ты их не знаешь.

— А из наших?

— Из наших Мартыньш, Эджус, Дидзис, Агита, кажется, Элина . . . Из чужих — друзья Индры, ее родственники. Я же сказал — тьма людей. Что, Агрис, детка, тебя еще интересует?

— Взрослые тоже были?

— Были и взрослые.

— Дико неинтересно.

— Сдохнуть можно, — вмешался в разговор Таливалдис. — Папуси, мамуси, тети, дяди... И ты, Арманд, таскаешься по таким раутам? Я был о тебе лучшего мнения.

Рудите, которая до этого вела себя так, словно ее ничего не касалось, хихикнула. Похоже, она считала Таливалдиса диким хохмачом.

— Мне лично на такие юбилеи плевать, — почувствовав поддержку, молот он дальше. — Сидя за столом, плясая друг на друга. Как говорится, культурно шпионят друг за дружкой. Как бы кто не опрокинул миску с салатом. А когда молодые уходят, старичье следит, куда пойдут, что делать будут. Премного благодарен!

Рудите буквально тряслась от смеха. Я даже стал опасаться, что она свалится с табурета.

— Эй, ты, не упади! — сказал я.

— А тебе что за дело! — огрызнулась она.

Таливалдиса несло:

— Перебьются эти мамуси и бабуси, дуры они все, вот что. А предки жуткие сволочи. Можете мне поверить. Выродки настоящие.

Шевеля бледными губами, Таливалдис сердито бубнил, и с каждым словом злость его разгоралась. Я снова отметил про себя, что мальчик прилично набрался.

— Посмотришь на инюго, вид вроде приличный, а на деле сволочь сволочью.

Он стукнул ладонью по стойке бара.

— Морду таким бить, и все дела. Не жалея. На прошлой неделе разукрасили мы здесь, в парке, одному флейс. Сдохнуть можно было. Поглядели бы вы, как он пошел на нас. Набычился. Важно так ответил — я, мол, вам не сигаретный киоск. А сам сунул туберкулезную палочку в пасть и дымит, как труба. Тут уж мы... тут я... Двинул по роже, чтоб не выступал.

Барменша принесла коктейли. Мне холодный кофе.

— А потом? — спросила Рудите.

— Потом... потом... потом ничего. Старый хрыч тут же сложился, как перочинный ножик. Ш-ш-ш! Остальные навалились. Отсандалили как надо. Конец дяде — галоши в одну сторону, сигарета — в другую. Лежал вот так, — Таливалдис раскинул руки, чуть не опрокинув стаканы. — Наши деру. А этот остался лежать, стонет. Припечатали как положено. Так ему и надо.

— Почему? — спросил я.

— Что почему?

— Почему так и надо?

— Потому что надо.

— Не понял.

— Ну, ладно... Потому что и он сволочь.

— А ты откуда знаешь?

Видно было, что Таливалдис с трудом понимает вопрос.

— Все они сволочи. Тот, в парке, что сопел на дорожке, в следующий раз выступать не будет. Чтоб знал свое место.

— Откуда тебе известно, кто есть кто?

— Черт, чего ты привязался? Тебе в жизнь этого не понять, а я без отца живу. В бегах папаша. И не вспоминает. Забыл сыночка родного. По свету шляется. Что ему? У него все в ажуре. Так что я знаю, что говорю. Все они... Все!

Склонившись над стойкой, Таливалдис со злостью тянул свой коктейль. Потом прошипел:

— Можешь ты понять своими бараньими мозгами, что у меня нет отца? Уж мне-то отлично известно, что все эти симпатичные папаша просто-напросто производители. Жуткие сволочи. Бить таких надо. Зверски бить, без всякой жалости. Понял?

— Понял. Но это ничего не даст, — говорю. — Между прочим, у меня тоже нет отца, но я думаю иначе.

Когда я заговорил, у меня снова, в который уже раз за этот день, появилось ощущение, что я держу на коленях моток спутанных ниток и никогда в жизни не смогу его размотать. Не сумею связать порванные нити, как бы ни старался.

— У меня, как и у тебя, нет отца. Нету! — внятно повторил я.

— Не надо ссориться, старики, — вмешался в разговор Агрис. — Какое это имеет значение?

— Не трепись, если не знаешь! — оборвал его Таливалдис. — Меня бесит, что папенька мой по свету мотается. Что все эти папеньки мотаются невесть где.

Опрокинув в себя все содержимое бокала, он встал, положил на стойку пятерку. Мрачно оглядел всех и, не сказав ни слова, вышел. Пьяный, на ногах он держался тем не менее твердо. Возле гардероба завел разговор с какими-то типами, похоже, завсегдатаями кафе.

В этой компании вертелись и две вызывающе одетые девушки, которые смотрели на парней снизу вверх и ловили каждое их слово. Сдохнуть можно, как сказал бы Таливалдис. «Дамы в роли оруженосцев», — подумал я.

— Псих, — буркнул Агрис, когда Таливалдис ушел.

— Да, в последнее время совсем вразнос. Чего удивляться, вторую неделю пьет без продыху, — это сказала Рудите.

— Давно ты его знаешь? — обратился я к ней.

— Давно, — ответила девушка. — С месяц, а может больше.

Она чиркнула спичкой, прикуривая новую сигарету.

— Тебе не кажется, что ты слишком много куришь? — спросил я просто из любопытства.

— Один из принципа ненавидит зрелых мужчин, второй не пьет, третий считает, что все лажа, четвертый курит, а то со скуки можно умереть. Как видишь, каждому свое.

— К счастью, — сказал Агрис.

— Скорее, к несчастью, — возразила Рудите, равнодушно затягиваясь сигаретой.

Черт, оказывается, она не так глупа!

— И, главное, кому какое дело, — с запозданием ответила девушка на мой вопрос и ядовито добавила: — Надеюсь, ты слышал!

— Да, слышал.

Потом мы долго болтали о всяких пустяках. Рудите несколько раз повторила, что не хочет идти домой.

Мы не заметили, как возле гардероба разгорелся конфликт. Обратили внимание на потасовку, когда она, можно сказать, была в полном разгаре.

Красный, как свекла, и длинный, как жердь, Таливалдис молотил в грудь какого-то толстяка лет за пятьдесят, а тот, схватив его за рубашку, громко орал:

— Отдайте мой номерок! Я видел, как вы взяли. Отдайте мой номерок!

— Кончай надрываться, трухляк! — кричал в ответ Таливалдис, пытаясь оторвать от себя его руки, но толстяк мертвой хваткой вцепился в рубашку.

Спорщиков окружили приятели Таливалдиса. Рядом с мужчиной, ухватив его за локоть, стояла женщина в черном платье. В тот момент, когда я посмотрел в их сторону, один из тех, с кем Таливалдис за минуту до этого разговаривал, попытался вырвать у женщины сумочку, которую та держала под мышкой. Но ему это не удалось. Казалось, женщина вот-вот заплачет.

— Отдайте номерок! — визжал толстяк.

— Сдохнуть можно! Какой еще номерок? Зенки разуй! — кричал в ответ Таливалдис. — Нечего по ресторанам шлаться, раз в голове эклер. Копи лучше денежки на гроб!

— Талис! Талис! — не удержавшись, вскочила Рудите. Агрис рванул ее обратно.

— Не ори! Сиди тихо! Чего лезешь?

Наклонившись ко мне, он взволнованно зашептал:

— Линяем, пока не поздно. Этот псих сейчас заварит здесь кашу. Я его знаю, зуб даю.

(Продолжение следует)

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Все персонажи текстов являются вымыслом и не имеют никакого отношения к реально существующим или существовавшим лицам.

Деньги

Мы жили дружной коммуной в боковой комнатухе Юсуповского дворца и занимались социологией.

Человечество бесилось с жиру. Каждый год сносилось и отстраивалось заново по пол-Ленинграда — единственно по той причине, по какой дамы меняют наряды.

Несколько лет назад мы были свидетелями полного отмирания бумажных денег. Бригада художников Гознака во главе с Ю. Васильевым лихорадочно печатали кредитки — то рембрандовски строгие, то ажурные, как кружева, то ни на что не похожие сюрреалистические и абстрактные купюры. Все было напрасно: никто их не брал.

С темпами, свойственными веку, вышла из обращения и жалкая нынешняя мелочь. Ее заменили прекрасные тяжелые старинные рубли. Позапрошлой осенью вошла в моду антика, что было пресечено кровавым вмешательством государства: при современной технике Грецию и Рим чеканили в любой подворотне.

И в один прекрасный день Витька Мохов по прозвищу Карл Маркс собрал нас всех и неожиданно спросил:

— Что, парни, может существовать общество без денежного обращения?

— Нет! — хором ответили мы, и эхо гулко прокатилось по нашим пустым желудкам.

— Так вот, тенденции развития неизбежно приведут к тому, что в обращении в качестве последнего средства останется одна-единственная монета-уникум. Однако, не располагая достаточной статистикой, я не могу сказать, какая именно... — Витькиным словам было суждено сбыться через неделю. Это был латунный рубль, который партизан Ковпак сделал сам для себя.

Легко представить, с какой скоростью он переходил из рук в руки, обслуживая трехсотмиллионное население. Все были довольны, а рубль, истираясь, буквально таял на глазах.

Общество стояло на грани катастрофы...

1956

Гостеприимная Балтика

К курортному сезону в Паланге готовятся с осени. В беседе с нашим корреспондентом председатель Палангского горсовета тов. Ш. Микунис рассказал:

— Следующее лето будет жарким — 129 солнечных дней за период с первого июня по тридцать первое августа. Эту и другие точные цифры мы получили на новой советской электронно-вычислительной машине «Кама». Мы постараемся достойно принять очень дорогих гостей. Их будет 106 472 человека. По одному месяцу проведут на курорте 76 201 человек, по два — 28 890. По три месяца будут гостить у нас 1 281 человек. Интересно отметить, что из этих 1.281 человека — 1.280 московские пенсионеры. За тот же период утонут в море 147 человек, в том числе 32 мужчины, 19 женщин, детей и стариков 96. По национальному составу утонувшие распределяются следующим образом: на первом месте русские (42 человека), на втором евреи (41 человек), на третьем латыши (29 человек). Советуем соблюдать особую осторожность нашим гостям с Кавказа: из 32 азербайджанцев навеки останутся в волнах 27. Зато литовцам бояться особенно нечего — на их долю приходится всего одна утопленница, семилетняя девочка с дефектом речи. Политический облик утопленников будет таков: членов КПСС — 80, комсомольцев — 2, беспартийных — 57, агентов иностранной державы — 1. По понятным причинам имена утонувших заранее опубликованы не будут.

1967

Как?

- Дедушка, здравствуй, как поживаешь?
- Спасибо, внучек, прекрасно. Прекрасно.
- Дедушка, я тебя хотел спросить, а как при царе было?

— Что? Гм... При царе? Великолепно было, замечательно. Лучше не придумаешь.

— А как?

— Да знаешь, морозец такой, солнышко светит. День чудесный.

— Значит, хорошо. А после революции как стало?

— После революции? Хорошо стало. Красиво. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.

— Что ж ты тогда в Париж уехал?

— А я не уехал. Выслали.

— Как же выслали, если все так хорошо было?

— А вот так: взяли и выслали.

— Ну ладно. А как в Париже было?

— В Париже? Как в сказке. Богатство такое, веселье. Европа. Дышишь всей грудью. Каждый день праздник.

— Как же каждый день, если немцы потом пришли! Дедушка, а как при немцах-то стало?

— При немцах? Хорошо стало. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.

— Как же хорошо, если немцы тебя арестовали и убить хотели?

— Ну при чем тут немцы? Меня в Гражданскую свои четыре раза арестовывали — красные, белые, зеленые и еще какие-то. Меня даже французы раз арестовали, правда, эти убить не хотели. И потом после репатриации я свое отсидел. На родине.

— А как тебе на родине?

— И не говори! Изумительно! На родине, друг мой, всегда хорошо. Живу — не нарадуюсь!

1967

Соб. Инф.

Вопреки распространенному мнению, Колумб не открывал Америки. К западу от Канарских островов его шхуны «Пинта», «Нинья» и «Санта Мария» попали в зону действия известной магнитной аномалии. В силу этого дальнейший путь Колумба пролегал не к Америке, но к Гренландии. Рассказы его моряков о тропических лесах следует приписать стрессовому состоянию, вызванному недостатком витамина С. Однако сообщения о голых туземцах не надо считать вымыслом: доказано, что при определенных условиях эскимосы могут оставаться на сильном морозе без одежды по пять и более часов. Известный норвежский путешественник Хер Туйердал, повторивший путь Колумба от Палоса до Гренландии на базальтовом плоту, утверждает, что открытие Америки и проникновение в Новый Свет европейских поселенцев относится к концу восемнадцатого — началу девятнадцатого веков. Он полагает также, что Соединенные Штаты могли быть основаны не ранее, чем в семидесятые годы прошлого века.

1964

Старая новая Москва

— Кремлевскую стену еще при Ленине построили. Против левых эсеров. И Спасскую башню тоже. Еще кино было «Кремлевские куранты». Там один все старается, чтобы они гимн Советского Союза играли. А Верховный совет, дворцы и палаты — при Сталине. Украшательство. Архитектурные излишества.

— А церкви старинные?

— Какие старинные! Были бы старинные, их бы живо снесли.

Под метлу. В Москве ни одного старого дома не осталось! Тоже при Сталине построили.

— Зачем?

— А для культа личности. Для иностранцев.

— А на Красной площади Василий Блаженный?

— Тоже при Сталине. Покрасили его, правда, при Хрущеве. При Хрущеве еще на месте арсенала Дворец съездов отгрохали. Там тогда по воскресеньям кино бесплатное было. Сталин — тот всех боялся, арсенал в Кремле устроил. А Хрущев арсенал снес, все хотел показать, что ему-то бояться нечего...

1960

О бодисатвах

Когда в назначенный час Будда преставился от объедения, дух его незамедлительно переселился в постороннего человека, который тут же утратил интерес к жизни и начал заботиться о человечестве. Покойный всю жизнь опекал ближних и дальних и до смерти не пожелал оставить излюбленного занятия. Одержимые Буддой, по-тибетски бодисатвы, сменялись со все возрастающей быстротой, ибо по буддийским представлениям убить бодисатву — значит причаститься его многочисленных и несомненных достоинств.

Пока на Тибете и в остальном мире было сравнительно немного людей, одного бодисатвы хватало на всех. Однако род людской множился, и самый расторопный бодисатва не мог бы справиться с возросшими обязанностями. Стало появляться по два или несколько бодисатв сразу, порой равномерно распространяясь по всей известной земле, порой сталкиваясь в одном месте.

Японская хроника одиннадцатого века повествует о таком столкновении, имевшем место в префектуре Ноги. Бодисатва-самурай рассек мечом непослушного бодисатву-гончара на две половинки. Но тот, отличаясь большей святостью, мгновенно склеился и насадил на голову самураю кувшин, который никто не мог снять.

Особенно осложнились взаимоотношения Будды и человечества в девятнадцатом веке, когда ученые ламы открыли, что кроме Индии, Китая и Японии на свете существуют также Англия и Россия с многочисленными окрестными княжествами, не заслуживающими отдельного упоминания. Трезвый взгляд в их историю обнаруживал великое множество бодисатв, которые на протяжении веков спасали народы от возвращения в животный мир. Так, несомненными бодисатвами были Марк Красс, Карл Маркс, Лев Толстой и негритянский актер Айра Олдридж. Особенно святой оказалась безымянная окраина России, которую попеременно опекали Тарас Бульба, философ Скворода, кобзарь Шевченко и батьки Махно, Ковпак и Будденный. Лучшие лица в том краю доньше ласково именуется Буддками. Видимо, там же возникла и получила широкое распространение народная клятва «Бля Будду!»

Русский писатель девятнадцатого века Ф. Достоевский создал немало образов бодисатв. Так, в романе «Преступление и наказание» он вывел бодисатву-неудачника, в котором ушербное христианское начало одерживает победу над буддийским. Главный герой другого романа бодисатва Смердяков совершает страшное преступление во имя человечности.

В двадцатом веке в силу малозначительных земных обстоятельств при заметном росте народонаселения число ученых лам резко сократилось, и теперь уже не они, а буддийские интеллигенты Востока и Запада занимаются выявлением и пропагандой бодисатв своего времени. По совпадающим свидетельствам А. М. Пятигорского и Аллена Гинсберга, к числу современных бодисатв относятся Кони Зиллиакс, Ч. П. Сноу, Уолтер и Ежи Липпманы, проповедник Б. Грехем, Ж. П. Сартр и, вероятно, генеральный секретарь У Тан. Автор этих заметок видел редчайший случай супружеского союза бодисатв в лице Г. Померанца и поэтессы Серебряного века Зины Миркиной. Все они в назначенный час теряли интерес к жизни и принимались опекать человечество.

Читатель! Помни, что Будда в любую минуту может вселиться в тебя или твоих ближних. Современная наука пока бессильна предотвратить эту трагедию. Сам прими доступные меры предосторожности. Перестань думать и говорить о буддизме, ибо Будда то, чем ты его себе представляешь, а бодисатвами могут явиться лишь те, кого ты ими сочтешь. Сторонись их! Помни: Будда не дремлет!

1967

Дар народа

I

За ужином Ху Эр изловчился добыть второй стакан чаю. Заполночь он проснулся. Лишний чай распирал его. Ни о чем другом он думать не мог. Но что делать, когда уборная на производстве, а на пороге барака спит хунвейбин? Ху Эр приоткрыл глаза.

Его сосед Ху Эр извивался вокруг себя.

— Сообщишь, — пронеслось в голове Ху Эра. И на миг позабыв о нужде, Ху Эр побежал к дверям докладывать хунвейбину.

Ху Эр понял, что разоблачен.

А Ху Эр, несмотря на бдительность, не попал в уборную до начала смены и невыполнил план на четыре процента.

II

Ху Эр был непростой человек. Во время войны с Бумажным Тигром он несколько раз ходил в тыл врага и многому там научился. И когда после войны хунвейбины вылавливали всех, кто общал-

ся с врагом в бою или иным способом, Ху Эр ловко отвел им глаза и устроился на работу в городе Ъ. Однако за ревизионизм город Ъ преобразовали в народную коммуны. Ху Эр не сумел избежать общей участи. Но и тут он сумел постоять за себя. При вступительной стерилизации он отвел глаза хунвейбинам и остался нетронутым, что и привело к описанному инциденту.

III

Наступил День Критики. Хунвейбин Ы встал под портретом председателя Мао и объявил:

— Ху Эр из сто семнадцатой бригады третьего дня невыполнил план на четыре процента. Разве это не вызов мудрости председателя Мао?

Коммуна подняла руки. Хунвейбин Ы вызвал Ху Эра из строя, сорвал с него номерной флажок и застрелил.

— В той же сто семнадцатой бригаде есть человек, который обманул председателя Мао, — продолжал Ы. — Это Ху Эр. — И он поманил Ху Эра к портрету.

Ху Эр сделал шаг вперед и, вдруг повернувшись, стал быстро срывать с коммунаров познавательные флажки. Ряды смешались. Ху Эр сорвал флажок с себя. Теперь никто не мог отличить его от соседей. И каждый лишенный флажка усумнился в себе и подумал: — А может, Ху Эр — это я?

Хунвейбин Ы не мог застрелить их всех, потому что в его трофейном нагане осталось четыре патрона.

IV

А в это время Ху Эр бежал гаоляном к Правительственному шоссе.

Ждать пришлось недолго. Из-за поворота в клубах пыли вылетел «Ветер с востока». Над открытой кабиной висел транспарант: «Дар народа Ухани председателю Мао».

В клубах пыли Ху Эр поравнялся с кабиной. Бросок — и водитель лежал на полу, а Ху Эр отчаянно накручивал водительскую баранку. Этому он обучился во время войны с Великим Северным Соседом.

Погони не было, и Ху Эр остановил грузовик. В кузове жалобно бляла коза. Коза лучше жены. Любить ее можно так же. Молоко у нее вкуснее. Коза не пишет доносов.

Ху Эр перенесся с неба на землю. Он приколот себе флажок убитого с иероглифами «Водитель Ху Эр». Потом он переехал Ху Эра машиной и мелом вывел на синей спине: «Дезертир из коммуны Ху Эр. Хотел обмануть председателя Мао. Убит мной в опасном бою. Водитель Ху Эр».

V

Громыхая всеми болтами, «Ветер с востока» несся по одностороннему Правительственному шоссе.

Путь преградило полотнище: «Привет водителю Ху Эру, который везет дар народа Ухани председателю Мао!» Ху Эр выключил мотор, и грузовик силой инерции въехал в толпу. Кругом стояли люди в синем, как все в Ухани, но подозрительно юные. Ху Эр понял, что он в коммуны для проштрафившихся хунвейбинов. Хунвейбин с наганом в руке любезно представился:

— Ху Эр.

— Ху Эр, — ответил Ху Эр.

— Пароль, — еще любезнее проговорил Ху Эр.

— Пароль может знать враг, — высокомерно сказал Ху Эр. — Друг познается в труде, — и он бесстрашно шагнул в толпу.

Производство было горшечное. За шестнадцать часов Ху Эр перевез на тачке и просеял ручным ситом двадцать три му речного песка. С ужасом смотрели на него опальные хунвейбины. Они знали, что завтра двадцать три му станет производственной нормой. С подъемом работал Ху Эр. Он знал, что не выполнивших норму постигнет участь доносчика Ху Эра.

VI

На дворце красовался плакат: «Козу председателю Мао!» — и Ху Эр с тоской подумал о неизбежной разлуке.

Из-под плаката вышел хунвейбин с наганом и брезгливо спросил пароль.

— Пароль — слово, — прочувствованно сказал Ху Эр. — Слово может узнать враг, — Ху Эр поднял палец. — Ты недостаточно бдителен! — в голосе Ху Эра звенела сталь. — Я скромный водитель Ху Эр. Народ Ухани доверил мне доставить дар председателю Мао. По дороге в бою я убил врага народа Ху Эра и совершил трудовой подвиг в коммуны горшечников. Пусть председатель Мао узнает весть от тебя, а я постою на страже.

Отведя глаза хунвейбину, Ху Эр отобрал у него револьвер и всгал под плакатом. Хунвейбин потоптался и ушел во дворец. В кузове жалобно бляла коза.

VII

Ничего более не дожидаясь, Ху Эр направился в сад к Беседке Дракона. Газета «Хунци» каждый день сообщала, что председатель Мао сидит в Беседке Дракона и пьет какао-хуа.

Председатель Мао сидел в Беседке Дракона и пил какао-хуа.

— Я водитель Ху Эр, — отрекомендовался Ху Эр. — Народ Ухана доверил мне привезти тебе в дар козу.

Председатель Мао радостно захолопал в ладоши.

— Водитель Ху Эр привез председателю Мао дар народа Ухана, — сообщил подоспевший хунвейбин. Ху Эр ударил его наганом по голове.

— Мешает, — пояснил он. — Нам надо поговорить, чтобы никто не мешал. — Председатель Мао закивал головой. — Мы поедем на лодке, — сказал Ху Эр, а когда председатель Мао стал колебаться, Ху Эр ткнул ему в спину наганом.

VIII

Ху Эр закончил рассказ о своих подвигах. Лодка была на середине Янцзы.

— А теперь плыви, — ласково сказал Ху Эр и посоветовал: — Плыви! Плыви, дорогой председатель Мао, — пропел он и приказал: — Плыви!

Увидев дуло нагана, председатель Мао неловко перелез через борт и поплыл. Ху Эр быстро погреб к противоположному берегу.

— Стой! Помогите! Тону! — кричал председатель Мао.

На крики его сбегались пятнадцать-семнадцать миллионов крестьян, работающих на окрестных полях.

— Спасать — не спасать? — спрашивали они себя и топтались на месте.

К берегу подплыла лодка, в которой сидел человек с именем флажком на груди.

— Спасать — не спасать? — кричали люди.

Ху Эр вышел на берег и важно посмотрел на утопающего.

— А если он враг народа? — сказал он, и толпа рассеялась, как туман.

1955—1966

Рогулька

Что хотел написать Зоценко.

Значит, я из таких блокадников, которых вывозят из Ленинграда во Владивосток через Северный Морской путь.

Только мы вышли в открытое море, как немец сверху разбомбил наш пароходишко.

Я человек уважаемый, при рабоче-крестьянской власти вышел в водопроводчики. Можно сказать, всю свою трудовую жизнь заправляю водой.

Плывать, однако, не научился. То ли особого таланта нет, то ли потому, что нога одна.

Другую мне во время гражданской войны белые детской коляской переехали. Я праздновал пролетарский праздник и лежал поперек Кирочной. Они и переехали. У кого еще тогда детские коляски были?

Короче говоря, барахтаюсь я в Северном Ледовитом океане и вижу, что из воды рядом рогулька торчит. Я за нее схватился. Под ней вроде ведра, но больше и не тонет, как поплавок.

Отдышался, набрал воздуха, кричу:

— Помогите блокаднику!

Куда там! Которые в шлюпку набились, те от меня прямым ходом. Которые за трубу или за снасти держатся, тоже отгребают подалше. Кричал я недолго. Часа два. В северной ледовитой воде того гляди сам станешь ледышкой.

Тут военно-спасательный катер подходит. Все как заорут:

— Эй, на катере! Не подорвись! Там какой-то шкет немецкую мину собой камуфлирует.

Камуфлет. Поглядел я на рогульку. Поглядел на катер. С него уже на меня трехдвоймовку наводят. Как жажнут!

Не знаю, что меня разнесло — вражеская мина или отечественный снаряд. Нечего сказать, эвакуировали ленинградца.

1984

Якир

С командных высот нам бросили нужный лозунг: *Дайшь ГНЗ!* Он понятен всем командирам и комиссарам, за него идет в бой каждый червоармеец. Мы провели совместные маневры трех округов и рапортуем наверх: *Есть ГНЗ!*

Граница на замке, но враг не дремлет. На маневрах мы впервые в истории успешно применили массивное использование воздушных десантов и танковых соединений. Каков будет наш ответ, если это применение использует панская Польша или боярская Румыния? Наш ответ: сегодня на замке граница, завтра — вся республика.

Начнем с центра. Товарищ Скрыпник правильно предложил наименовать его районом сплошного ПВХО СРУ. Столица радянской Украины будет на замке через три месяца. Для этого потребуются четыре мероприятия:

1. Переселение населения с верхних этажей домов на нижние, желательно в подвалы и полуподвалы.

2. Размещение на верхних этажах и крышах свыше четырехэтажных домов артиллерийских и пулеметных гнезд для огня по аэропланам, парашютистам и городу.

3. Сознательное приобретение всеми гражданами противогазов Зелинского—Куманта последнего образца. Обратит внимание резиновой промышленности на производство масок для дошкольников и лиц грудного возраста.

4. Ударная ликвидация в черте города всех зеленых насаждений как мешающих быстрой дегазации.

Товарищ Косиор напомнил о ПТР СРУ. Есть, товарищ Косиор! Намечены два мероприятия:

1. По периметру внешнего обвода укрепрайона в радиусе не менее 25 километров разместить в лесистых зонах на удалении не более 25 километров друг от друга железобетонные огневые точки с вращающимися бронебашнями. В бронебашнях установить луч смерти инженера Цериовича. Обеспечивает полное уничтожение танков и живой силы на расстоянии свыше 25 километров. Блилежащие села и города в целях маскировки не эвакуировать.

2. Там же построить не менее пятидесяти насосных станций для полного заболачивания предполя на максимальную глубину.

Товарищи Чубарь и Петровский улыбаются. Верно улыбаются, товарищи! Часть насосных станций мы соединим с городской канализацией — пусть враг понюхает, как пахнет его смерть!

1974

Секреторная

На станции Секреторная никто их не встретил. Сталин легко прыгнул с подножки и кошачьей походкой направился к станционному зданию. Он успел убедиться, что там нет ни начальника, ни кассира, ни телеграфиста, а Ворошилов еще спиной вперед тяжело выползал из вагона, вцепившись обеими руками в древо правого поручня и беспомощно перебирая ступеньки короткими ногами. Плечи ему оттягивал огромный круглый мешок.

— Никого, — сказал Сталин.

— Никого, — пусто отозвался Ворошилов и вдруг прибавил: — Ты как хочешь, а я пойду.

— Куда? — удивился Сталин.

— На завод. К немцу. — И заверил: — Примет, у него забастовка.

Сталин долго стоял на перроне, глядя, как с одной стороны по пыльному шляпу удалялась паукообразная из-за мешка фигура главнокомандующего, а с другой — прямоугольные очертания уменьшавшегося поезда.

1970

Палец

У Ивана Михалыча было на левой руке шесть пальцев: большой, указательный, средний, безымянный и два мизинца. В церковно-приходском мальчишки звали его шестопалом. Хуже стало, когда он подросток. В собственную лавку с такою клешней не встанешь. В церкви исповедуешься, а в мыслях одна шестопалость. Причащаешься, а в мыслях одна шестопалость. Ясно: во осуждение. Хоть вовек не причащайся.

С людьми Иван Михалыч держался особняком, зимой-летом не снимал холщовую рукавицу. Если заговаривал, то когда ожидал услышать совет. Надумал и все рассказал политтехническому студенту — ссыльный социаль-демократ. Тот сразу:

— А вы как отец Сергей!

— Какой о. Сергей?

Студент принес книжку. Иван Михалыч неделю шевелил губами. Прельстительно и окаянно. Однако, прямой совет.

Положил Иван Михалыч левую руку на колоду, приставил к лишнему пальцу долото, большим-указательным придержал, правой рукой с молотком как махнет! Кровь брызнула, это не книжка. И мизинец в угол отскочил. Что с ним делать, о. Сергей не пишет.

— Вы его в печку. Сгорит — ничего не останется, — сказал студент и ушел.

К вечеру рука стала пухнуть. Поднялся антонов огонь. На третий день позвали священника. Причащался Иван Михалыч и знал, точно во осуждение: кого обмануть хотел? Себя? Людей? Бога?

1989

Кузнец Игнотас

Жил в селе Папиле кузнец Игнотас. Всем славный был парень — ростом вышел, и с лица пригож, и работы не бегал. Одна заминка: прожил на свете двадцать девять лет, а жениться вот не сумел. Забоялся он. Добрые люди знают: когда холостому тридцать стукнет, хер у него отваливается. Осталось Игнотасу до тридцати три недели, не выдержал он, бросил кузню и, как челнок, засновал по земле литовской.

И Тришкой прошел и Гришкой,
И Детишкой и Ребятишкой.
И Григишки и Вилкавишки,
И Пильвишкес прошел и Шишкес,
И Любавас и Явас,
И Плунге и Крянге,
И Кедайняй и просто Едайняй.

А за день до тридцатилетия встретил в селе Пукучай девицу Ону. Всем взяла Она — собой ладная, с лица ровная, нравом кроткая. Единственная беда: родилась в один год, один день с Игнотасом, а до сей поры замуж не вышла. Добрые люди знают: когда девке тридцать исполнится, хер у нее вырастает. Страху она натерпелась, хоть из дому прочь. Да только Сваёне вот-вот отелится. Где ж тут бежать?

Увидел Игнотас Ону, увидела Она Игнотаса, поняли вдруг — судьба. Ксендза позвали, соседей, какие нашлись, свадьбу сыграли. Только гости ушли, Сваёне телиться стала. Притомились они с гостями, намаялись и со Сваёне, свалились с ног и заснули. Наутро проснулись, и что? У Игнотаса хер отвалился, у Оны хер вырос. Сделалась девка парнем, а парень девкой. Горевать? А хозяйство ждет — сено косить, картошку окучить, морковь проредить, корм скотине задать, попоить, подоить — тосковать некогда. А вечером после ужина схоронила Она игнотасов хер у забора. Сели они рядком и давай утешать друг друга — хорошие были люди. И решили, что можно и так прожить. Год не прошел, Игнотас дочку родил, Она выкормила. Только слабая девочка-то была, преставилась скоро. У забора, где Она хер схоронила, дуб вырос, в три обхвата, высокий, сейчас стоит.

1967

Три Германии

Когда баварцы расколошматили пруссаков под Штутцем и вступили в Берлин, не было на свете людей несчастней, чем венские классики.

Собразив, что темный Берлин не будет более выгодным проти-

вовесом просвещенной Вене, Брамс с чемоданчиком забежал предупредить ленивого Шумана.

— Вена погибла. Теперь нам тут нечего делать. Наша столица — Мюнхен, — выпалил он.

Слова его доходили до вялого Шумана добрую четверть часа, столько же понадобилось ему, чтобы оценить их справедливость. Еще минут десять Брамс собирал в дорогу хозяйские вещи и ноты, так как Шуман все время путался под ногами. Когда они вышли на улицу, было уже поздно.

Весь мюнхенский тракт, насколько хватал глаз, был запружен напуганными композиторами. Впереди всех неся, бросив семью, Моцарт. За ним постулюю гриммовского скорохода мерно вышагивал счастливый Глюк. Пронырливый Малер бодро толкал перед собой тачку с имуществом. Впрягшись в телегу, упрямый Бетховен с ненавистью тащил партитуру Девятой симфонии. Добрый Гайдн нес на закорках большого Шуберта.

А в дальней дали, там, где небо сходилась с землей, Вагнер уже раздавал пограничникам золотые дукаты, чтобы те не впускали в Баварию конкурентов.

Весело улыбался в Лондоне предусмотрительный Гендель, а в Берлине Бисмарк шел под конвоем на виселицу — но и ему было легче, чем Брамсу и Шуману.

1972

Яма

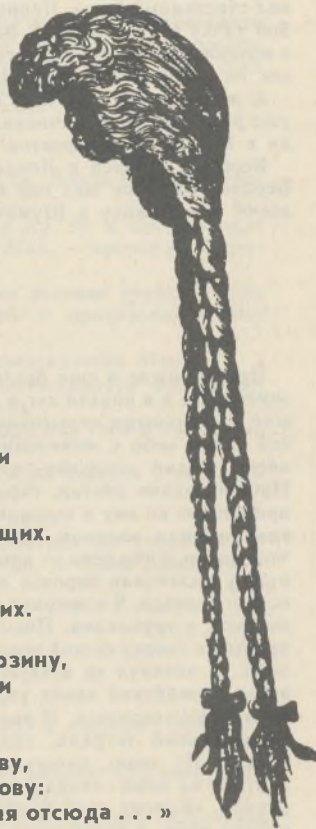
При дорожке в еще безлистном лесу солнце уже так пригрело землю, что я в пальто лег и оказался лицом к яме поперечником в шаг, с отвесными невысокими стенами. Яма была увлекательней, чем ясное небо с меняющимися картинами облаков. На дне по песку — один игольник, ни новой былинки, ни одного ростка. Прошлогодние листья, скрученные в трубку, исковерканные или прилипшие ко дну и стенкам. Обязательная горелая спичка. Другая, ломаная, коленом. Непременный обрывок газеты, уголок, так что неясно, о чем речь — какое-то заседание. Справа пласталась по отвесу маленькая коровья лепешка, вылинявшая до бесцветности осинового гнезда. Я ковырнул ее прутиком, и она упала, легкая, словно лист, и трухлявая. Подо всем наполовину вросшая в землю и покрытая сверху сеткой земли — огромная поллитровка с полоской воды. Я потянул за ветхую отставшую этикетку. Блекло: «Портувейн. Можайский завод управления . . . » И наверху пять четких коньячных звездочек. И рядом свежий, почти не затекший листок из школьной тетради, судя по почерку, первого или второго класса. Не знаю, пишут ли в первом или втором классе диктант, но на меня глядело: «Диктант. Мы учимся писать» (без ударений). «Корова дает молоко. Юра Гагарин отличник . . . » А напротив меня, в углублении стоял толстый, как будто полный, казенный пакет с печатным бледно-кирпичным текстом «Рис шлифованный» и т. д.

— Андрей Яковлевич! Доброе утро. Чем это вы занимаетесь? Я встал, сделал улыбку, повернулся и отряхнул перёд пальто.

1988



ИГОРЬ ЮГАНОВ



Я погружён в эпистолярный ящик,
В котором штемпелюющие клерки
Целуют непогашенные марки
И обжимает электронный счетчик
Живую плоть признаний предстоящих.
Бегут по океану водомерки —
Разносят новогодние подарки
Для нищих духом и обычных нищих.

И перед тем, как выбросить в корзину,
Узнает мой почтмейстер из Рязани
(Из Сызрани, Калуги или Чудова),

Что я, одну побольше сделав букву,
Переписал — спасибо Ваньке Жукову:
«Мой милый Дедушка, возьми меня отсюда . . . »

Пролетарий пролетал,
а художник рисовал,
и пока он рисовал,
пролетарий пролетел.
А когда дорисовал,
пролетарий в пруд упал.

В дырявом башмаке Его Высочества
не больше смысла, чем в любом
дырявом башмаке. Величие
отчасти в том, чтоб соблюсти приличия,
которых соблюдать не хочется,
и публику не тешить шутловством,
асфальт на площадях трамбюя
бесчувственным после бессонниц лбом.
Вы очень понимаете такое.
Но неприлично всё-таки, токуя,
твердить о сложном, думая простое.

— И врач у тебя будет советский, и гроб —
советский, и священник тебя отпоёт — советский.
А ты говоришь:

— Ну и пусть он будет немного советский, но
зато он будет православный и русский.

А я говорю:

— Ну и пусть он будет немного православный
и русский, но зато он будет советский.

И тогда ты говоришь:

— Ну и что!

И говорить нам становится не о чем.

Виталию

Я умею дышать в живописных развалинах речи,
Сочинять — как научен — о том, что уже не болит.
Но таможенный демон хватал меня ныне за плечи
И звездую язвил Голиафом сраженный Давид.

А потом, с похмелы, навещая пустую жилплощадь,
Где лежит избяной, непригодный для выноса сор,
Я решил написать — словно в Марьиной роще — попроще
И вдогонку жильцу отослать этот сор за бугор.

Самолет-самосвал приземлился в немислимых странах,
На бетон опрокинув ввезённые души живьём.
И письмо я пишу обладателю трех чемоданов,
Так неплотно набитых советским дешёвым тряпьём.

Мне бы всем доказать на едином дыхании, за ночь,
Что лишь в проклятый мир Бог не создал обратных путей.
А с портрета глядит Александр Аркадьевич Галич —
Уж ему-то понятна бесплодность подобных затей.

Диссиденты устали сидеть на зарплате у власти
И готовы на всё, лишь бы вылечить этот невроз.
Но из разных столетий не сходятся рваные части —
Остаётся поверить, что власть изменилась всерьёз.

А она — ни в какую. По-прежнему нет беззаконий,
Потому что законы не действуют семьдесят лет,
И страна остаётся одной из великих колоний,
У которой, увы, никакой метрополии нет.

Вот и нюхают воздух голодные, жалкие слуги —
Ждут, когда испечётся пирог небывалых свобод.
А по мне, волчий вой остается прообразом фуги
Или образом друга в движении наоборот.

Я бы тоже уехал. Когда непонятно простое,
Усложненьем не сломишь великодержавную дрянь.
Только русский язык — как крючок с золотистой блесною,
Рыболовный крючок, слишком прочно вонзённый в
гортань.

Не пускает, хоть плачь. Но быть может, в смешной и
короткой,
В этой жизни постылой я всё же сорвусь и смогу.
И белугу найдут с развороченной чёрною глоткой,
Что беззвучно ревет на пустынном твоём берегу.

В снегу желтели фонари,
Неслись снежинки голубые,
Как насекомые ночные,
Светящиеся изнутри.

Снежинок бесноватый рой
Чертил изгибы, и в тумане
Толпились лошади с крылами,
Сновали тени, мчались сани,
Взвивался бич под небесами —
У седока над головой.

Стекло исчерчивал мороз,
Лилось тепло от батареек.
И усыпленного Морфея
Качали бунчуки берёз.

Девка с глазами белесыми
Манит висеть на баясине.
Сбросила всё и повесила
То, чем была подпоясана.

Длинными чуткими пальцами
Тянется, хочет дотронуться.
Ишь ты, какая проказница
Эта девица-покойница!

Гнётся она, извивается,
Ставит стремянную лестницу.
Хочется с ней позабавиться:
Трахнуть её и повеситься.

Графика

Когда ложится навзничь балеринка
на дно уютной чёрной готовальни,
на ватмане теряются невинно
черты неспроектированной спальни.

Но воздух сохраняет ненадолго
наклон лица, расставленные ноги,
удары пульса — как удары гонга —
и ноготь на мизинце недотроги.

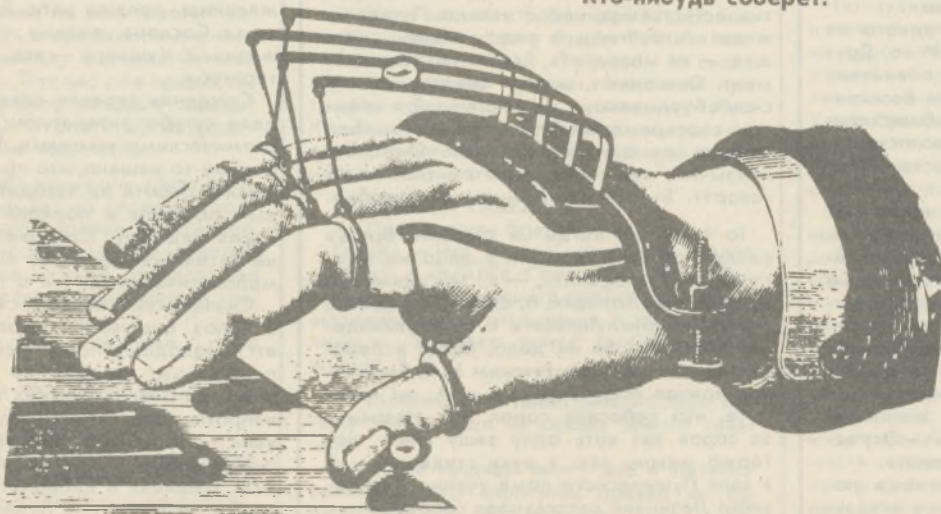
Мультипликация — всего лишь смена позы.
В изгибе плеч, в речном изгибе, стёртом
движеньем воздуха, — горчайший привкус: поздно
угаданы возможности офорта.

Изломы эротического жеста
растаяли. Проект уложен в тубус.
Участвуя в создании палимпсеста,
вдвигается в пространство неуместный
оплывший
жёлто-голубой автобус.*

* «yellow-blue bus» — по школярскому наблюдению, звучит похоже на «Я люблю вас».

Если на ртуть дуть,
воздух сожрёт ртуть.
Но кропотливый труд —
вместе собрать ртуть.
Точный уставь взгляд
и не стремись — взять.
Грудь распахни вширь,
ртутный вдыхай пар, —
это же твой пир.
Это же твой шар!
Вот он, гляди, весь
перед тобой здесь.
Не вороти рот.
Смотри: он дышит, живёт,
твой серебристый ком . . .
Стой! Ты испортил всё,
ткнувшись в него лбом! . .

Кто-нибудь соберёт.



ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ЗАПИСИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ОБСУЖДЕНИЕ СТИХОВ

Выявился этот кочетовский комплекс по случаю обсуждения в Секции поэтов двух молодых — Кушнера и Сосноры.

С определенными намерениями на обсуждение пришли несколько человек из некоего литобъединения. Пришедшие — молодые, но страшные. Они из того материала, из которого, при случае, делают люди 49-го. Эти в недоразвившемся состоянии; притом сейчас они не уверены в исполнении желаний. А было им обещано, что бездарность, невежество и предательство — достаточные предпосылки для преуспевания.

Разумеется, этим качествам давались другие имена; употребляли их даже отъявленнейшие из проработчиков, даже наедине с собой. Псевдонимом невежества была принадлежность к своим, к новым, народным кадрам. Псевдонимом бездарности — неотличимость изобретателя и героя от каждого и от всех. Он замечательный, но он метафизически равен простому человеку. Отсюда обратный логический ход: следовательно, каждый может быть замечательным. В организованном обществе все, однако, не могут быть самыми замечательными, но только те, которых организовано назначают — поэтами (члены СП), учеными (старшие и младшие сотрудники) и прочее. Суть, значит, в том, чтобы получить такое назначение.

Что касается подлости, то для нее псевдонимом во все времена служили общественные (государственные) интересы, так приятно совпадающие с частными.

После смерти Папковского, одного из деятельнейших проработчиков 49-го, Друзин, встретив Берковского, сказал: — Вот мы и похоронили Бориса Васильевича. Вы думаете, это легко — общественное мнение против, большинство осуждает... А его ничто не могло остановить. Сгорел человек.

Людей 49-го года мы тоже знали молодыми. Гуманитарная интеллигенция, занятая собой, самонадеянная и безрассудная, думала смутно: так себе, неотесанные парни... А там шла между тем своя внутренняя жизнь — к ней никто не считал нужным присмотреться, — исполненная злобы и вожделий. Интеллигенты думали сквозь туман: — Ну, при всей неотесанности они не могут не понимать, что науку делают образованные. — Эту аксиому пришлось как-никак признать.

Доверие к непризнанной аксиоме погубило многих. Своевременно не угадавших, что люди 49-го не были самотеком, но людьми системы, которая, включив гуманитарии в свой идеологический механизм, меньше всего нуждалась в ее научной продукции. Г. Г., со свойственной

ему в подобных делах наивной игривостью, говорил (уже накануне событий) — теперь я буду управлять Секцией критиков, а в помощь мне приставили Лесочевского. Он же похлопывал В. Б. по плечу, устраивая его в Университет. Хорошо иметь на кафедре двух-трех кондовых — на страх враждебным академическим сухарям или образованным дуракам вроде Б-а.

Люди фланировали над бездной, кишевшей придавленными самолюбиями. Пробы час — они вышли из бездны. Проработчики жили рядом, но все их увидели впервые — осатаневших, обезумевших от комплекса неполноценности, от зависти к профессорским красным мебелиям и машинам, от ненависти к интеллектуальному, от мстительного восторга... увидели вырвавшихся, дорвавшихся, растоптавшихся.

Сегодняшних мы узнаем в лицо. Это те самые, которые убивают и пляшут на трупе противника. Но они смущены. Будущее, обещанное, бесспорное, затуманилось вдруг невозможностью логического развития. Они теперь включены в перемежающуюся игру гаек. Гайка раскручивается — и тотчас же все расплывается в разные стороны; гайка закручивается — и на данном участке наступает полное несуществование. Тогда гайка раскручивается... Сам по себе этот механизм не так уж им страшен. Цепкий жизненный инстинкт твердит, что раскручиванье противостоит, недолговечно. Пугает их живая сила, тесным рядом здесь сидящая, — ее молодость, злоба, ум, темперамент. Они знают, какими средствами эту силу обуздывают, и не уверены, что средства своевременно будут применены. Без средств же они беспомощны. Они косноязычны, над ними смеются, они не то говорят. Бьется истерзанное самолюбие.

То ли дело, когда их старшие братья рвали, топтали, хлестали в лицо на многолюдных собраниях, — а те униженно кахлясы или молчали, бледные, страшные, молчали, прислушиваясь к подступающему инфаркту. То ли дело, когда в переполненном университетском зале Бердников кричал Жирмунскому: — А, вы говорите, что работали сорок лет. Назовите за сорок лет хоть одну вашу книгу, которую можно дать в руки студенту! — А в зале Пушкинского дома ученик Азадовского Лапицкий рассказывал собравшимся о том, как он (с кем-то еще) заглянули в портфель Азадовского (владелец портфеля вышел из комнаты) и обнаружили там книгу с надписью сосланному Оксману. Азадовский, уже в предынфарктном

состоянии, сидел дома. После собрания Лапицкий позвонил ему, справляясь о здоровье. Молчание. — Да что вы, — сказал Лапицкий, — Марк Константинович! Да неужели вы на меня сердитесь? Я ведь только марионетка, которую дергают за веревочку. А режиссеры другие. Бердников, например...

Сам Смердяков мог бы тут поучиться смердяковщине.

Сегодняшних же потенциальных разгромщиков гложет тайная робость. В молодой, навстречу им вставшей силе страшной всего то, что она демократична. Ей не пришлось барство или стилижество. Почти все плохо одеты. Разве что кой у кого волосы мохнатые. Брюки если и узкие, то дешевые. Впрочем, этико-политическая проблема узких брюк постепенно теряет свой накал.

Из сидящих здесь молодых почти никто еще не стал профессиональным литератором. Правда, многие об этом мечтают; но пока что они токари и инженеры, учителя и геологи. Они из тех пока, чьим трудом дышит страна. Они претендуют на то, что они-то и есть нормальные советские люди. В печатной форме оно, конечно, легче, потому что не видишь и, особенно, не слышишь противника. Устно же с ними трудно. Трудно, когда смеются.

Наступление начал Кежун в перерыве. Разговор кулуарный, потому что он, к сожалению, должен уйти. Ему больше нравится Соснора, потому что это ближе к жизни. У Кушнера — все книжно, все литературно.

Суждение заранее заданное. На самом деле сугубо литературен Соснора с его ритмическими изысками. Но про Соснору почему-то решено, что он более свой (фамилия? работа на заводе?); решено главным образом в порядке противопоставления Кушнеру. Следовательно, Соснора не интеллигентский, не книжный, не космополитический. И не о нем будет речь.

Сначала высказываются уже принятые в Союз писателей. Слово предоставляется молодому поэту. Все сразу должны понять: это критика не с каких-нибудь замшелого-реалистических позиций. В ней, напротив того, слышится поступь атомного века. — Знакомые ребята, физики, мне рассказывали... Далее — о кибернетических машинах и кибернетической информации. — Так вот, у Кушнера больше информации. Но мне это чужое. Я тут не вижу активного отношения к жизни. Соснора мне ближе по духу, но его стихи, надо признать, содержат мало информации, то есть мыслей.

За кибернетической критикой следует почвенная. Другой молодой поэт — большой, худой человек, темноволосый, с большим лицом, правильным и несколько деревянным. Выступление кондовое, но с парадоксом. Противник признан. Вообще и через враждебные речи проходит мотив относительного признания (огульное охавание и дубинка запрещены). Эта же речь вся на кокетливом парадоксе — приятия неприемлемого. Он первый начинает настоящую, большой разговор. — Прямо режу: замечательный поэт. Да, мне это не близко. А я говорю — замечательный. Через не хочу говорю. Мысль в его стихах признаю. А его тут похлопывают, поглаживают. Чего вы мельтешите? когда перед вами поэт. Настоящий. Только зачем было аплодировать? Здесь не театр. Люди пришли для серьезного разговора. Это все дружки, дружки. Вот тебе аплодируют, поэтому у тебя до сих пор и нет книги (проговорился: потому что ты представляешь движение умов. Одного, случайного признать можно, течения — признать страшно). Ты их не слушай, выходи на широкую дорогу.

Непредусмотренное великодушное выступление (архисвоего) — это была уже путаница, деморализовавшая тех, кто подготовил скандал. Вышел паренек в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом и сказал: — Я ничего не понял... — Формула эта считалась без промаха разящей. В пастернаковские дни ее можно развернул Кочетов в Литгазете, в письме некоего производственника: — Поэт Пастернак? П-ы-ы-ы! Что-то я о таком не слыхивал. Вот про Имярека и Имярека действительно знаю, что они поэты. Читал. А Пастернак — этот что-то мне не попадался... Ха-ха!

Сработало. Но это на бумаге, которая терпит, а живые слушатели не терпят; они откликаются грозным смехом. И в этой голове, быть может, впервые в жизни шевелится: а так ли уж это хорошо — не понимать, так ли почетно... Я ничего не запомнил... (А нужно ли этим гордиться?) Мне больше нравится Соснора, потому что, слушая его, я почувствовал себя русским.

Последнюю фразу, под неясным шум аудитории, он произносит робко. Такие фразы не производятся робко. Еще Козьма Прутков сказал: «Доказано опытом, что нельзя командовать шепотом».

Довольно молодой, но уже толстый человек говорит опять о вреде аплодисментов (подразумевается интеллигентская группировка). — Вот вас уже предостерегали против дружок, которые заводят на дурную дорогу. И опять об аплодисментах. Наступление идет вяло.

Руководитель объединения хочет поднять тонус. Он выходит на середину комнаты, и лицо у него заранее испуганное. И, кажется, он боится не столько молодой аудитории, сколько чего-то другого, что он силится рассмотреть буравящими глазами.

— Объявили великими поэтами... Что же это такое?

Голоса: — А кто это говорил? Кто?

— Так у вас получается.

Голоса: — Ах, получается... — Я ничего не говорю — у него есть хорошие стихи (не допускать огульного охавания, не допускать огульного охавания). Но зачем же так, через край (не допускать огульного захваливания, не допускать...) А у него замкнутый мирок, мелкотемье. О Сосноре — мне он нравится больше, своим оптимизмом — меньше

говорили, но тоже: талант, талант. Сколько талантов... Правильно тут сказано — как Кушнера захваливают дружки. Его ругать надо — для его же пользы.

Недобрый смех. Голоса: — Ну, этого было довольно. С него хватит!

— Ведь так, как тут сегодня говорили, не говорят о наших настоящих, больших ленинградских поэтах...

Любопытно, кого, кроме Прокофьева, он имеет в виду — Решетова? Авраменку? Вероятно, никого персонально. Не это важно. Важно, что не по чину хвалили. Опасное положение. В опасности, главное, его, оратора, назначение поэтом, дающее возможность не заниматься общественно полезным трудом.

И тут выступил человек, решивший нанести главный удар. Совсем молодой, очень рыжий, очень худой, лицо лезвием, без фаса, с резким преобладанием носа, глаза узкие. Пиджак поверх черной рубашки без галстука. Рабочий (этим здесь, кстати, никого не удивишь; Соснора, например, работает слесарем), член Литобъединения и заочник II курса Литинститута в Москве. Он решил сказать то, что другие думали.

— Вы меня извините. Тут все грамотей сидят...

Когда году в девятнадцатом подобное говорили люди в непросохших красноармейских шинелях — это было словом нового исторического слоя, поднимающегося к культуре. Ну, а на сорок пятом году революции что это такое? В стране, где задумана уже всеобщая десятилетка? — не что иное, как гарантия простоты, верный признак принадлежности к своим.

— Если кто не так слово скажет, сразу шушукуются, пересмеиваются...

Растравленное самолюбие, кочетовский комплекс.

— Так уж вы извините, если не так скажу. Не привык выступать перед такой аудиторией...

Ирония. Подразумевается: хорошо, что он так не умеет говорить. Нехорошо — в частности поэту — быть интеллигентным. Он не грамотей. Он тот, кому годами внушали, что он есть мера вещей, тот, который не слыхивал... И все, про что он не слыхивал, — это космополитические происки.

— Конечно, есть у Кушнера и хорошие стихи. И книга у него будет. Все это так. Но какие тут темы? Он засел в своей комнате. Увидел графин — написал про графин. Лев Мочалов, по-моему, убил Кушнера своим выступлением, когда сказал про него — этот поэт прежде всего интеллигентный человек...

Неприятный смех.

— Поэт должен брать большие темы...

Голос: — Нет ничего легче, чем мелко написать о космосе. Семенов с места объясняет, что художники разными способами выражают свое отношение к жизни. Почему вы лишаете поэтов свободы выражения?

Но рыжевый слушает нетерпеливо, потому что он еще не сказал самого главного.

— Когда Кушнер был у нас в Литобъединении, его спросили, поехал ли бы он в пустыню. Он ответил — нет, я бы не поехал.

Смеются. Голоса: — Зачем ему пустыня? Еще если б Мочалова в пустыню — он хоть Лев. А этому зачем?

Насчет пустыни — это о том, что отсиживаются, и о том, что писателям вредно жить в столицах. Это на подступах к самому главному. Нужно скорей сказать главное, пока не помешали.

— От имени кого выступает Кушнер? От имени мещанина...

Шум. Голоса: — А ты, а вы — от чьего имени?

— Я от имени советского человека.

Голоса: — А здесь что — не советские сидят?

Должно быть рыжему страшно. Он храбро повторяет:

— Я говорю — это написано от имени мещанина...

— А ты, знаешь, от чьего имени... от имени мракобеса! Хватит! Ступай учиться!

Председательствующий Браун, установив кое-как тишину, объясняет: — Не нужно волноваться, не стоит придавать значение. Выступающий — просто жертва неправильного воспитания. Слишком долго его учили ценить в искусстве одни плакаты и лозунги, не принимая во внимание художественное мастерство. Тогда как без художественного мастерства...

Откуда берутся проработчики? Какой именно человеческий материал употребляется на это дело? Разумеется, были среди них садисты, человеконенавистники, холодные и горячие убийцы по натуре. Это в той или иной мере патология, и не это типично. Мы не верим в прирожденных злодеев. Мы верим в механизмы. В двадцатом веке наука о поведении любила орудовать механизмами (условные рефлексы Павлова, механизмы вытеснения Фрейда, бихевиористы...). В данном случае работает простой социальный механизм, хотя иногда и дающий довольно сложные психологические последствия. От гуманитарных деятельностей хотели отнюдь не их существования, но совсем другого. Соответственно поручали их людям, приспособленным к другому и полностью равнодушным, к выполняемому. Это непреложный закон, ибо способные непременно внесли бы в дело нежелательную заинтересованность по существу. Талант — это самоотверженность и упрямство. Так бездарность стала фактом огромного, принципиального общественного значения.

Но тут начинается драма этих людей и, уж конечно, тех, кто попадает на им на дороге. Самодовольство — чаще всего только оболочка. Их мутят комплексы, зависть и ненависть к тем, кто может. Усилия удержаться (чтоб не заменили случайно умеющими и знающими) — это непрерывное зло и обман, от больших преступлений до малых бессовестностей.

Но механизм применения неподходящих втягивает всех — обыкновенных людей, хороших людей, к какому-то делу способных. Он прежде всего умерщвляет в них волю к продуктивному труду, тем самым и совесть. Как знать, может быть, бездарные молодые поэты могли бы стать настоящими рабочими, инженерами, летчиками, моряками.

Комплекс не на своем месте сидящих и встречный комплекс оставленных без места сходны по составу: неполноценность, грызущее самолюбие, зависть. Они друг другу завидуют, два типических современника — не осуществивший свои способности и неспособный к тому, что он осуществляет.

На одном диспуте двадцатых годов Шкловский сказал своим оппонентам: — У вас армия и флот, а нас четыре человека. Так чего же вы беспокоитесь?

В Союзе писателей как-то объявился датчанин, на которого всех зазывали. Он, через переводчицу, нес ахиною о датской литературе и экзистенциализме. Главная идея состояла в том, что экзистенциализм и есть реализм, поскольку писатели этого направления, как явствует из самого его названия, — изображают существующее.

Благодушный докладчик — представитель администрации Королевского театра. У него брюшко, свежие щеки, сигара, перстень. Облик, вполне предусмотренный нашими пьесами из капиталистической жизни.

На доклад пришел кое-кто из сотрудников литературоведческих учреждений. Икс смотрел на датчанина с сигарой, не отрываясь, и его лицо, большое, белесое, веснушчатое, с сонными веками, выражало заинтересованность и что-то похожее на умиление. В перерыве он задавал сангвиническому датчанину вопросы, ласково и осторожно, как будто боялся руками старого проработчика нечаянно повредить это хрупкое существо.

С Иксом разговаривал барин. Пусть глупый барин, но чистый, душистый, из другого теста сделанный и, главное, искони неприступный для его наводящих порядок акций. Он смотрит на Икса своими круглыми глазами, вовсе не понимая, как страшно то, на что он смотрит. Барин не битый, не проплеванный...

Матерый холуй — управляющий, приказчик, дворецкий — с умильной-почти-тщеславной снисходительностью относится к неловкому и ученому барчуку. И он же готов сжить со света своего брата, грамотного крепостного; за то, что смерд — начитавшись — возомнил о себе.

1956

В Гослитиздате готовили «Избранное» Ольги Форш. Редактор сказал ей: «Вы уж, Ольга Дмитриевна, постарайтесь отобрать рассказы, которые бы лезли в ворота сегодняшнего дня».

Журналистика во все времена разговаривала на разных языках, предназначенных для разных слоев общества. Орган печати имел обычно свое языковое лицо, обращенное к тому или иному читателю. Сейчас это можно сказать только об изданиях ведомственно-профессиональных или сугубо массовых (рассчитанных на ограниченную грамотность). Вообще же существует несколько допущенных языков, и орган печати, ориентированный на среднелитературного читателя, имеет соответственно разные языковые коды.

Например, «Вопросы литературы». В № 7 за 1978 г. в статье «К 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского» сказано: «Наше зрелое социалистическое общество, создавая материальную базу коммунизма и его культурно-духовные предпосылки, воспитывая всесторонне развитую личность, способную осуществить великий принцип ассоциации будущего, по которому свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех, вновь под углом зрения этой грандиозной задачи пересматривает прошлое человечества, выдвигая в нем на первый план все то, что готовило всемирно-исторический поворот нашей сов-

ременности. Традиции истинного гуманизма занимают в этом наследии одно из центральных мест».

«Одно из центральных мест...» — микрокосмос всей этой стилистики. Остальное — типовой набор, сниженный здесь в одну фразу. Официальный язык мыслится как языковой фонд, всеобщий и обязательный. Некогда он считал себя единственно правомерным и все другое рассматривал как враждебное, по крайней мере излишнее. Теперь, напротив того, каждый имеет доступ к языковым кодам, в которых выражены несовпадающие установки общества.

Так, в № 9 «ВЛ», наряду с образцами официальной речи, статья А. Марченко «Ностальгия по настоящему» — это о стихах Вознесенского. Вознесенский, после настойчивого сопротивления, разрешен был в качестве изыска, показывающего возможности многообразия и свободу дерзаний. Несколько человек включены в этот разряд; новому же, начинающему, проникнуть в него невозможно.

«Конечно, Вознесенский с его феноменальным нюхом мог бы отыскать все эти запятанные сейчастью материалы и сам, без помощи королей «сыска». Но ведь ему некогда, он торопится, он берет «звук со скоростью света»... Куда выгоднее и удобнее «пеленговать» не отдельные выдающиеся предметы настоящего, а крупные скопления их!.. Неважно, где и как собрано, важно, что сбором (или сбродом) руководили не воля и разум, а Случай, обручивший «хлеб с маслом» и «блеф с Марсом»! Случай ведь слеп, и ему все позволено!.. Но в этой страсти к вещам нет везиума. Вещь для Вознесенского, тем более вещь, вырванная из обычного житейского ряда, — не вещь, а материализовавшееся время...»

Казалось бы, это обращено к совсем другому человеку, ничего общего не имеющему с тем, которому положено читать про одно из центральных мест в наследии традиции истинного гуманизма. Совсем нет! — по замыслу, все это предназначено для того же читателя. Наряду с ритуальной литературой ему предложена литература, ласкающая в нем сознание интеллигентности. Предлагаются ему и другие коды.

В том же 7-м номере, например, В. Молчанов в статье «Война против разума» информирует читателя о новейших приемах манипулирования человеческим сознанием. «... Личность переживает два типа психических состояний: либо «митридатизацию», либо «сенсублизацию». «Митридатизация» — иммунитет к пропаганде (никакой яд не действовал на жившего в древние времена царя Митридата: он постоянно принимал противоядия, прозванные по этой причине «митридатовыми средствами»). «Сенсублизация» — повышенная чувствительность к промыванию мозгов... Митридатизированного не удивишь новым мифом, в какой бы яркой оболочке тот ни подносился. Перекормленный пропагандой, он заранее знает цену любой идеологической фантазии. Но тем, кто занимается пропагандистским мифотворчеством, можно быть спокойным за митридатизированного: он не пойдет против мифа, а, не говоря ни слова, подчинится ему. Автоматически, по привычке.

А сенсублизованного каждый новый миф будоражит... Такая сверхчувствительность — нездоровая. Она действует на пропагандируемого, как водка на алкоголика. Сенсублизованный... находится в постоянной готовности сигануть вниз головой в мутный идеологический омут».

Информация в кавычках — не только цитирование, но и ирония. Фразеологию обезвреживает прививка вульгарно-разговорных слов: перекармливаемый, сигануть (тоже своего рода «митридатовы средства»).

К современной структурно-кибернетической, социологической, биологической терминологии чрезвычайно развился вкус. Но собственные структураллисты и прочие подозрительны (хотя вполне и не запрещены). Данный же языковой код — это современная фразеология, направленная против себя самой. Выполняя тем самым свое задание, этот код одновременно несет с собой радости чувства превосходства над непросвещенными и утоляет жажду интеллигентности.

Наряду с этим стилем, современно, информационно разоблачительным, есть еще стиль традиционный, но обязательно парадоксальный. Это стиль статей Кожина. В 9-м номере он представлен под вполне академическим заглавием «Русская литература и термин «критический реализм». «В гротеске Гоголя, как совершенно верно сказал Пушкин, «крупно», «ярко», с необычайной «силой» выставлена обыкновенность обыкновенного человека. Это связано со специфическим трагедийным комизмом, типичным для искусства барокко. Комизм этот может органически вбирать в себя и уже собственно трагедийные элементы, и даже героико (скажем, образ тройки в «Мертвых душах»). И, конечно, так называемые «романтические» произведения Гоголя вполне однородны с «критико-реалистическими»: различие здесь только, так сказать, в предметах, а не в творческих принципах».

Обыкновенность ярка, комизм трагичен, романтизм реалистичен — эти складные парадоксы также имеют свое назначение в данной культурной системе. Они свидетельствуют о поощряемости дискуссий. Дискуссионность, способная порождать обстоятельные контрасты, собственно, и является единственным их содержанием.

Вот вам под одной крышей четыре из допущенных стилей: ритуальный, элитарный, разоблачительно-информационный, почвеннически-дискуссионный. Можно взглянуть наугад под другую крышу — «Литгазеты» нынешнего года.

Отчет о собрании: «Можно с удовлетворением сказать, что благодаря усилиям парткома, секретариата, творческих объединений и первичных партийных организаций в писательской организации столицы создана обстановка, благоприятная для плодотворного творчества...» «Активнее способствовать появлению высокохудожественных произведений, посвященных актуальным проблемам социального и экономического развития...» «Руководству и партийной организации Московской писательской организации надо серьезно поработать, добиться устранения недостатков, дальнейшего повышения боевистости критики, усиления партийного влияния на творческий процесс...»

Замечательна здесь полная адаптация таких слов, как творчество, художественный, критика, которые могут ведь означать и совсем другое. Они не только перемолоты общим контекстом, но включены в цепкие словосочетания, из которых хоть сколько-нибудь высвободиться нет никакой вероятности: творческое объединение, высокохудожественный, боевистость критики...

Язык этот предстает (это входит в его определение) как безраздельно господствующий, всепоглощающий, единственно

возможный. Казалось бы, если он существует, то что еще рядом с ним может существовать? Но через три страницы мы встречаемся с продолжением дискуссии «Мир и личность», по ходу которой Куба Имедашвили утверждает: «Да, сегодня нам предлагают поэтический миф, «коллаж», внутренний монолог... Усвоить их во всей полноте нелегко — это работа, читательское творчество...»

А в соседней статье Татьяна Глушкова требует ренессансной раскованности поэзии. «Чтобы понять прекрасное стихотворение Байрона, стихи Пушкина о черепе как об «увеселительной чаше» и «собеседнике» — «для мудреца», надобно решительно отбросить методы современной «нравоучительной» критики, слишком упрощенные для данных масштабов личности, творчества. Надо отказаться от апелляции к схематическому, условному «нравственному чувству», не менее похожему на «бесчеловечность», чем неоспоримое какое-нибудь глумление. Надо отрешиться от «церковных» представлений о «кошунстве» и богобоязненной «нравственности» и стать на точку зрения культуры европейского гуманизма. Именно ренессансный дух (а не осквернение, поругание — «кошунство») проникает пушкинское стихотворение...»

На 1—2-й страницах язык, порожденный презумпцией всеобщей неадекватности, представлением об обществе как иерархии воспитывающих одна другую прослоек (читателей воспитывают писатели, писателей воспитывает секретариат, секретариат воспитывает первичная партийная организация и т. д.). А на 5-й странице читатель вместе с писателем творит поэтический миф и призывается по-ренессансному отнестись к нравоучениям.

Очень важно притом, что призывают не какие-нибудь стоящие вне игры, но свои, в дискуссиях участвующие со всей серьезностью, даже идею русского ренессанса излагающие по Кожинскому. Это значит, что язык с мифотворчеством и ренессансом общественно необходим.

Общество сейчас устроено так, что если бы язык 1—2-й страниц действительно распространился на все проявления жизни, — он бы их прекратил. Он лишен сейчас реального содержания и непосредственного контакта с действительностью. Пользующиеся им преследуют совсем иные — некоммуникативные — цели. Но цели эти важны, и служащий им язык обладает большой силой. Он напоминает о стабильности и о границах возможного. О том, что всё и все — на своих местах. Он представляет собой могущественную систему сигналов — сигналов запрета и поощрения и, с другой стороны, сигналов изъятия готовности. Это отвлеченный код управления, и на этом его функции кончаются. Там, где требуется хотя бы немного реального содержания, он скрепляет сердце и уступает дорогу другим языкам.

Читатель давних лет читал в адресованном ему журнале то научную статью, то бойкий фельетон, то лирическое стихотворение. Но все эти жанры рассчитаны были на человека единого языкового сознания. Вышеописанные коды предполагают другое: отсутствие целостного сознания, как мироотношения, и человека — носителя множественности языков, осуществляющих разнонаправленные задачи социального механизма.

мероприятие. Устрашающее обнажение юбилейной механики, именно потому, что работает она на неподходящем материале и на свежем. Юбилей Пушкина давно вошли в привычку, автоматизировались. А здесь все первозданно. Первозданный контакт Блока с секретарями райкомов, заведующими музеев, редакторами газет, директорами школ, из которых каждый норовит убраться из Блока что-нибудь лишнее.

Интеллигенты ужасаются, но в то же время вовлечены в игру самолюбий, сопромождающую любое мероприятие. Кто куда приглашен? Где и как упомянуты его работы? В какой витрине будет выставлена монография о Блоке? Может быть, и с портретом — не Блока, а автора. Интеллигент вообще не уважает чины и ордена, звания и мероприятия и одновременно испытывает удовольствие от своей к ним причастности. Икс высокомерно смотрит на юбилейную суету, но попробуй не подарить ему в этой связи почта. Игрек негодует на пошлость, но, конечно, польщен тем, что он в юбилейном деле фигура, что он представляет учреждение и его расспрашивают репортеры.

Не помню, в каком году (не так уж давно), сделан был донос на Дмитрия Евг. Максимова, пропагандирующего в университете декадента и мистика Блока — и дело это разбиралось со всей строгостью.

Сейчас Блока внедрили в сознание начальства, большого и малого. Как он там переваривается? Вероятно, в силу того, что существует, как многое другое, не в своей реальности, а номенклатурно. Появился номенклатурный Блок (певец революции), а в реальности «Распутый» или «Снежной маски» не заглядывают.

Н. сказал по этому поводу: функционеры привыкли выслушивать доклады, не слушая; в том же роде у них и с поэтами.

Секретариат СП поздравил меня с 85-летием. Текст, помещенный в «Литературной газете», напоминает театральную рецензию, написанную рецензентом, который не видел спектакля.

Поздравление исходит из того, что должно было быть. Я, по их мнению, очень хороший ученый, и я жила в Ленинграде. Из этого соотношения вытекает: «... многолетняя преподавательская и общественная деятельность, неразрывно связанная с Ленинградом, — городом, где Вы перенесли блокаду, где в самые тяжелые годы звучало Ваше страстное слово писателя-гражданина, где воспитаны десятки Ваших учеников». На самом деле после Института истории искусств 20-х годов учеников у меня не было, потому что ни один ленинградский вуз не пускал меня на порог. Меня запретили. По-настоящему, штатным доцентом, я преподавала за свою жизнь три года — в Петрозаводске.

Страстное слово писателя — это скорее всего «Записки блокадного человека», прозвучавшие через сорок лет. А во время блокады я в качестве редактора Ленрадиокомитета тихо правила чужие военнолитературные передачи.

Совсем не тот спектакль.

1977

Гая Муравьева говорит, что моя этика допускает опрокинутую формулу: средства оправдывают цель. Народовольцы, скажем, оправданы, потому что их средства требовали самоотвержения.

Современные террористы, впрочем, тоже рискуют жизнью, — но вызывают у меня отвращение. Рискуют и бандиты. Риск

сам по себе не этический факт. Опрокинутая формула работает, если средства подключить к определенной связи нравственных мотивов.

Н не согласен с моей трактовкой Олейникова. Стихи Олейникова для него сплошь пародия. Это то направление современной науки о литературе, которое не допускает, что у литературы могут быть контакты с действительностью. Поэзия — это цитата или пародия. То есть перевернутая цитата.

Библер прислал мне свое эссе «Нравственность. Культура. Современность. Философское размышление о жизненных проблемах».

Я написала ему: «Вы говорите: основной этический акт — выбор, свободный поступок. Но почему исторически выбор всегда предостоял неразрешимым парадоксом. Для античности в силу идеи рока; для средневековья — божественного предопределения. Для позитивизма XIX века в силу биологического и социального детерминизма».

Для нас такие механизмы уже не срабатывают. И получается, что самый непредусмотренный выбор у наших современников. Но это уже сверхпарадокс. Потому что никто еще не проходил через подобный опыт невозможности выбора.

ХОББИ

В Англии собираются издать Интернациональный биографический словарь. Мне прислали анкету для заполнения. Там есть даже графа «хобби».

Для образца заполняющим в анкету включены ответы Архиепископа Кентерберийского. Всевозможные должности и почетные звания занимают у него целый столбец. А в графе «хобби» написано: «Опера, чтение истории и романов и разведение свиней беркширской породы». Прелестное микроизъявление английского духа.

Давнишний разговор между двумя людьми, до пресыщения знающими друг друга.

— Так, так... Не обзавелся ли ты иллюзиями?

— Иллюзиями? Я уже даже не помню, как выглядят иллюзии. Из чего их делают. У меня, напротив того, подробное расписание будущих горестей.

— И ты встревашь в психологическую авантюру с вычисленным страданием... Чего ради? Ради тени счастья.

— Но тень счастья — это страшно много. Огромно. «А эта тень, бегущая от дыма...» Подумай — давно омертвевшему сознанию возвращаешь печаль.

— Как-то у тебя все это подозрительно красиво. Когда человеку по-настоящему больно, он готов взвзть.

— Вить я не буду. Потому что все заранее хорошо известно. Воют от неожиданности, принимая ее за несправедливость. А тут все закономерности — на своих местах. Остается проиграть ситуацию.

— Проиграть... Слово имеет два значения...

— Годятся оба. Для каламбурной развязки. Смотри — «Как тень внизу скользит неуловима...»

В «Вопросах литературы» напечатан московский дневник Ромена Роллана, который он вел в 1935 году. Против ожидания дневник оказался документом в высшей степени интересным.

Интересно не то, что ему вкручивали, — это само собой, — а он клевал на наживку (к тому же подкупленный неслыханно почетным приемом), а то, что он многое знал, живя у Горького и тесно общаясь с Крючковым и Ягодой.

Роллан отчасти понимал, что ему вкручивают, он знал про поднадзорное положение Горького, про расстрелы, аресты и ссылки после убийства Кирова, про неприличное обожествление Сталина, про указ, узаконивший смертную казнь для детей с двенадцатилетнего возраста.

Он пишет, что сопротивление «богатых крестьян» было «яростным и фанатичным». И по ходу этого рассказа возникает замечательная своей уравновешенностью фраза: «На Украине крестьяне уничтожили огромные запасы зерна, весь урожай, и их оставили умирать с голоду». То есть Ромен Роллан знал то, о чем мы тогда не имели понятия, — что украинский голод был организован.

И все это не помешало знаменитому гуманисту толковать о «лучезарном будущем» советского народа и в личной беседе заверить Сталина, что под его руководством СССР указывает лучшим людям Запада выход из морального и экономического распада.

Ромен Роллан в самом деле гуманист, а убеждение в том, что «лучезарное будущее» требует жертв и оправдывает жертвы, было родовым грехом всего гуманизма, выношенного XIX веком. И все мы, интеллигенты старшего поколения, причастны этому греху.

Интеллигентам, впрочем, свойственно сомневаться. По поводу очевидной для иностранцев перлюстрации писем, которую отрицал Ягода, Роллан заметил: «Но даже зная все это, испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды».

1989

Двадцатым годам присуще интеллигентское поклонение жестокости. «Конармия» Бабеля вся проникнута уничтожением интеллигента перед недоступной ему кровожадностью.

Платонов же, сам пройдя через соблазны утопического мышления, сумел понять, почему «лучезарное будущее»... И написал об этом «Чевенгур».

В альманахе «Зеркала» М. Эпштейн поместил эссе «Очередь». Оказывается, очередь можно дофилософствовать до положительного смысла. «Очередь — это воплощенная мечта социального математика, утопица-лифагорейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где каждый отличается от другого только порядковым номером... Если толпа — это хаос, то очередь — космос, устроенный по законам исчислимой гармонии. Но в отличие от античного космоса новейший вброшен в историю, и число обретает свойство самодвижения».

Никакого отношения к экзистенциальному опыту стоящего в очереди — с ее телесным томлением, с хамством и ненавистью, с унижением человека.

Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит. Дело же писателя не говорить то, что никто не говорит, а говорить то, что все говорят, но так, как об этом никто еще не сказал.

1989

Разговор с Андреем Левкиным о возможностях прозы. Сначала говорим о том,

о чем давно говорят разные люди. Современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до исчерпанности довел еще Толстой.

Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средоточием вступающая между писателем и читателем.

— Не только между писателем и читателем, но между писателем и писанием, — говорит Левкин.

Он говорит, что сейчас люди начинают делать то, что в двадцатых годах сделал Шкловский прекрасной книгой «Письма не о любви». Другое прекраснейшее явление новой прозы — тоже старое: «Разговор о Данте». Непосредственный разговор автора с читателем, хотя и не личностный... Не о себе...

Я: В конечном счете о себе... О своей поэзии больше, чем о поэзии Данте. Но не в том дело. Не в том, чтобы художественное высказывание было субъективным, а в том, чтобы оно было прямым; без средоточия будто бы объективного мира или со средоточием вполне прозрачным.

Прямой разговор о жизни — в разных его формах, есть и косвенные формы прямого разговора — единственное, что пока современно. Почему этот род литературы не устарел, как другие? Потому что жизнь продолжается, не устаревая, и тем самым продолжается ее осознание, истолкование. Научное и эстетическое высказывание — неотъемлемая функция мыслящего человека. А романы и повести он может и не писать.

По этому поводу Алеша Машевский сказал, что прямой разговор о жизни — такая же условность, как непрямо. Что как только люди привыкнут к тому, что это литература, появится литературный стереотип прямого разговора. Уже появляется.

— Что же, по-вашему, — прекратится тогда потребность в эстетическом осознании текущей и протекшей жизни? Едва ли. По Гегелю, правда, искусство со временем отомрет, как способ познания, несовершенный по сравнению с наукой, философией и особенно религией. Но потребность эстетического переживания жизни изначальна, задана в устройстве человека. Значит, взамен прямого разговора придумают еще какую-то новую форму. Или изменят назначение старой. Прямой разговор о жизни существовал еще в древности. В XVII веке проза — это и есть, в основном, прямой разговор — хроники, мемуары, мысли, максимы, афоризмы, портреты... Но о том, что это литература, тогда не знали. Какое же еще обличье примет литературный факт (как говорил Тынянов)?

Машевский: Но предсказать альтернативу будущего невозможно. Может быть, — вдруг! — эстетическим осознанием жизни станут какие-то научные тексты. И не гуманитарные, всегда не отграниченные от искусства, а, например, тексты физиков и биологов?

— И моделью такого текста, очевидно, будет уже не силлогизм, а символ.

1989

Есть одиночество буквальное, физическое; одиночество заключенных в одиночку или заброшенных стариков, получающих сорокарублевую пенсию.

Есть одиночество душевное при наличии разных контактов — профессиональных, интеллектуальных, светских, семейных,

любовных. Вплоть до ахматовского «одиночества вдвоем». Тогда одиночество — это неразделенная жизнь. И одолеть его можно не контактами, но только взаимопроницаемостью существований. Это выход из себя, мучительно нужный человеку. В схватке с солипсизмом человек ищет подтверждения внеположной реальности — будь то Бог или материальный мир.

Человек не выносит чистого чувства жизни (если он не достиг нирваны — блаженной самодостаточности), жизни без отвлечений — в паскалевском смысле слова. Паскаль говорит, что все бедствия человека происходят от того, что он не умеет спокойно сидеть в своей комнате. Человек — по Паскалю — придумал множество отвлечений (divertissements) для того, чтобы они мешали ему думать о себе и своем плачевном и обреченном земном бытии.

Те, кто видит смысл жизни — в жизни, в ней самой, на самом деле приемлют жизнь в разных ее наполнениях, содержательных формах — природы, искусства, эротики... Существование как таковое чревато инферальной скукой.

Этому состоянию души соприродно одиночество, если представить себе идеальное одиночество, доведенное до предела, которого оно практически не достигает. Никем не разделенная жизнь не тождественна, но странно подобна бесцельности, самосознанию, не имеющему содержания, дико остановившемуся времени, от которого кружится голова. И страшно. Но такая правда об одиночестве находит только минутами. В остальном мы отвлекаемся.

6.10.89

Литература мыслила человека свойствами — устойчивыми, стереотипизирующими реакциями на сходные ситуации. От одномерного, сведенного к одному свойству типа классической комедии до динамической и противоречивой соотносительности свойств, образующей характер в романе XIX века. Со временем все меньшее значение отводилось стереотипу, все большее — изменчивой ситуации.

Проза XX века (Новый роман, Беккет...) попыталась отделаться не только от характера, но и от персонажа. Попытка тщетная, потому что неотменяемым оказался субъект сюжетного процесса, — даже если он представлял аморфной магмой сознания.

В XX веке размывание характера быть может сопряжено с непомерным тоталитарным давлением, перетиранием личные свойства человека. Сталинской поре присуща унификация поведения перед всем грозившим пыткой и казнью. Лгали лживые и правдивые, боялись трусливые и храбрые, красноречивые и косноязычные равно безмолвствовали.

У Шекспира ревность — составная часть характера Отелло и его сюжетной судьбы. У Пруста ревность не только свойство характера рассказчика, но также идея ревности, объемлющая прустовское понимание жизни как непрестанного ускользания из человеческих рук.

Жизнь существует лишь в памяти. И не только прошедшая жизнь, но и так называемое настоящее — тоже производное памяти, недоступное для обладания. Отсюда бесплодная ревность к другому, в самом деле обладающему. Его даже нельзя настичь, потому что человек прустовского склада находится с ним в разных измерениях — в измерении памяти и в измерении победенного настоящего.

1989

ВИКТОР ГРАВИТИС

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

О НЕКОТОРЫХ НАРОДНЫХ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАКАХ

Подобно тому как за латышские народные песни — дайны латыши благодарны прежде всего великому фольклористу Кришьянису Барону, а за народные мелодии — их собирателю композитору Андрею Юрьяну, так и знаки, которые люди издавна именовали ПИСЬМЕНАМИ, известны нам благодаря усилиям Матиса Силиньша, ставшего собирать их еще в конце прошлого столетия, и его многочисленных последователей. Собиратели возвращали народу то, что когда-то ему принадлежало.

Высоко руки я поднимала
В девичьей комнате.
Если скажут, что за узор,
Получат от меня лапоточек;
Если узора знать не будут,
Ни словечка не скажут. TD 39716
(Здесь и далее — подстрочник)

Излюбленным орнаментальным знаком латышского народа является «солнышко». Этот знак в традиционной стилизации передает поэтическую колесницу Солнца с восемью спицами и ступицей, которая изображается маленьким четырехугольничком или по меньшей мере точкой посередине, кроме того, вокруг концов спиц могут быть и снопы лучей (рис. 1а). Очень похожий орнаментальный знак зовется «солнышком» и у башкирских латышей, переселившихся в те края около 1896 года и, надо полагать, незнакомых ни с печатными трудами Матиса Силиньша и его коллег, выходившими в Латвии в двадцатые—тридцатые годы, ни с коллекциями основанного тем же Силиньшем этнографического музея. Материалы башкирских латышей были продемонстрированы М. Славой с сотрудниками 25 марта 1986 года в Академии наук ЛатвССР в ходе отчета их экспедиции.

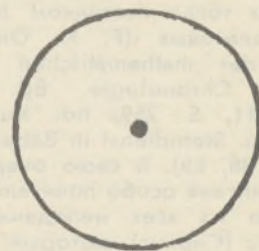
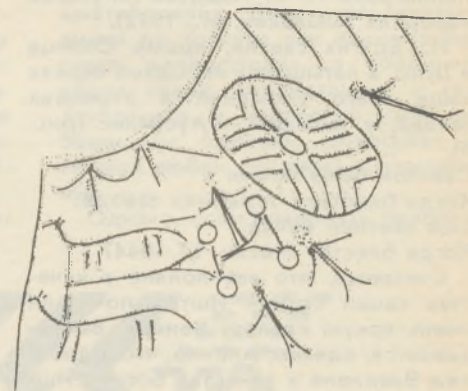
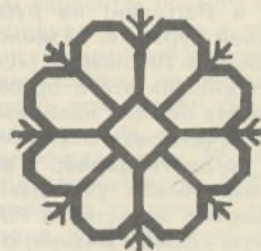
Встречаются и упрощенные, и сильно упрощенные варианты «солнышка».

Когда хочу, я тку
Всю солнечную наплечную шаль;
Когда хочу, беру (в мужья)
Молодого парня жениха. LD 7430

Согласно мотивам народных песен, Солнце днем едет в упряжке, чаще всего запряженной двумя конями (Гелиос разъезжает обыкновенно в четырехконной). В древности в Янову ночь (ночь Иванова дня) брали старое тележное колесо, прикрепляли к нему солому или паклю, обливали смо-

лой, поджигали и затем этот символ Солнца скатывали вниз с холма. Поездка Солнца в колеснице с лошадьми изображена и на прясле 1847 г., изготовленном в одно из поселков Зарасайской волости в Литве, а также на древнепрусской миниатюрной урне VI века, найденной на Грабовеском старинном погосте в Памаре (P. Dunduliene, *Lietuviu liaudies kosmologija*, Vilnius, 1988, рис. 8,39). Латышский солнечный орнамент имеет сходство с изображениями бога Солнца Шамаш на месопотамских барельефах VIII и XIV веков до н. э. (рис. 16) (R. Dröszler. *Als die Sterne Götter waren*, Leipzig, 1976, рис. 9 и 46, фото на вклейке). Еще и сегодня в астрономии пользуются позаимствованным у древних египтян символом Солнца с кругом и точкой посередине.

Когда восход Солнца еще только только начинается, становится виден как бы один из упомянутых выше снопов солнечных лучей, из которого и рождается заря, и потом уже на фоне зари восходит солнечный диск. На отдельном орнаментальном изображении в виде красного дерева этот



сюжет перекликается с народной песней:

Каждое утро Солнце восходило
На КРАСНОМ ДЕРЕВЦЕ . . . LD 33786
Солнце играло на кокле,
Сидя на АУСТРЕ . . . LD 33924

Дерево это именуется также солнечным деревом (Я. Судмалис, 1923 и 1972) и деревом Аустры (LME, II, с. 671—672) (рис. 2). Нередко оно изображается на наплечных шерстяных шaliaх — виллайне в разных районах Латвии и Латгалии; на рубахах в юго-западной Курземе, на женском головном уборе в Лиелварде («Latvju Raksti»). В подножии этого орнаментального дерева обычно изображается упрощенное четырехугольное «солнышко», из которого дерево и вырастает. Тот же символ уже давно и довольно широко известен в России под названием «Дерево жизни», о чем пишет сотрудник Русского музея в Ленинграде И. Я. Перцева («Русская народная вышивка», М., 1972).

Из других светил, кроме Солнца и Луны, в латышских народных песнях чаще всего упоминается Утренняя звезда, у латышей — Аусеклис (рис. 3).

Светлой была ночь,
Когда блестела Утренняя звезда;
Еще светлее ночь,
Когда блестит Месяц. LT 10447

Считается, что вавилоняне в качестве своей богини Иштар почитали очень яркую планету Венеру. Выказывается, однако, мнение, что в древнем Вавилоне в качестве богини Иштар почиталась весьма яркая неподвижная звезда Спика, звезда альфа в созвездии Девы (на изображениях соответствует колосу в руках Девы), чье ежегодное появление на небосводе было тогда вестником поры цветения злаковых (F. K. Ginzel. Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Bd. II, Leipzig, 1911, S. 259, по: Kugler, Sternkunde u. Sterndienst in Babel, II, 1, 1909, S. 88, 89). В свою очередь древние египтяне особо почитали самую яркую из всех неподвижных звезд Сотис (Сириус), который, как считалось, помогает Солнцу согревать летом землю и по очередному ежегодному появлению которого предсказывали разлив Нила. Изображение Аусеклиса сходно с изображениями Иштар на упоминавшихся месопотамских барельефах. Изображения египетского Сотиса найти не удалось. Однако Аусеклис соответствует Сириусу, а не Венере (см. V. Grāvis. Ausekla kāzas. Ежегодник «Varavīksne», 1988).

Один из странных «дней времяисчисления», когда земледelec проводит грань между сезонами полевых работ, — это Янов день.

Янису плела поясок
В девять ниток гарусных;
Янис пасет моих коров
Этим долгим летом. FS 2,2878.

В Музее истории Латвийской ССР



хранятся пояски (VVMETN. 18767 — LVVM 3313; VVMETN. 12049—LVN 3429; CVVM 170552) с орнаментально стилизованными изображениями всех фаз Луны (рис. 4а). Допустив, что каждый знак соответствует трем дням (при плетении в «тридевяты цветков» Яновых веночков число цветков тоже обычно утраивалось), получаем 9 дней растущего серпа Луны, 9 дней полной Луны и 9 дней ущербной, итого 27 дней, полный цикл лунных фаз. Повторение такого цикла на поясках образует символический лунный месяцеслов. Изображение чередования фаз Луны в древности было символом течения времени. Подобный символ является принадлежностью индийского бога Индры (рис. 4б) и древнегреческого Зевса (у последнего еще и с молниями), выражая власть верховного божества над ходом времени (см. рис., по Wolfgang Schultz, *Zeitrechnung und Weltordnung*. Leipzig, 1924, с. 123).

Периодическое чередование фаз Луны в одинаковые отрезки времени уже давно служило разным народам подспорьем для времязчисления. Как бы объединяющим всех, даже и живущих на отшибе, календарем, помогавшим в организации совместных мероприятий. В XII главе Ливонской хроники Генриха Латыша о событиях

1210 г. пишется так: «В следующую лунацию (цикл фаз Луны) ливы и латгалы вновь собрались вместе с рижанами у Астигервесского озера (оз. Буртниеку) и встретили войско сакальцев и эстов, и выступили им навстречу, чтобы сразиться с ними». О практическом использовании пояска с орнаментальными лунным календарем-месячником свидетельствуют дайны: Сказала я парню,
Чтобы замочил ячмень:
Я уже отпускаю на пояске
Девяты орнамент. LD 1062.
Парень купил мне пояс,
Я еще в девах хожу;
Неси его в лес, повязывая вокруг
дерева,
А не мне. LD 15570.

Для сравнения: с целью излечения хвори руку обматывали красной шерстяной пряжей, в которую вплетались узелки 3x9; отсчитывая от них трижды с «девяты» до «одного», произносили под конец «пусть изойдет, как ущербная луна», чтобы символически обернуть вспять течение болезни на одну стандартную единицу времени — один лунный цикл, исходя из предположения, что тогда пациент еще был здоров, и хворь выйдет (см. I. Rabinovičs. *No laika rēkinu vēstures*, «Zinātne», Rīgā, 1967, с. 10—11).

Напротив, Э. Брастиньш (Latviešu

ornamentika, Rīgā, 1923) тот же самый знак объясняет как «метелочку» Лаймы (в народных песнях — персонифицированное счастье). Поясок он ставит вертикально и обращает особое внимание на расположенные посреди орнаментального знака «некоторые горизонтальные линии с «метелочкой» поверх них, которую, таким образом, можно отнести к Лайме», и «вообще говоря, лежащие линии в латышском орнаменте, очевидно, выражают понятие женственности...». В некоторых вариантах поясков с этим знаком чередуется «дубок о восьми ветвях» (рис. 5), который получается на конце «метелочки», но который Э. Брастиньш показывает разделенным на две части так, что выходят два напоминающих букву W знака «юмиса» (колоса-двойчатки). Последний одновременно является и знаком плодородия, но Э. Брастиньш относит его только к женщине (почему?) и в этой композиции связывает с упомянутой «метелочкой». Далее, вертикальные линии он толкует как «символ мужского плодородия», а соединение обеих линий, вертикальных и горизонтальных, в клетчатый узор, особенно на одеялах, объясняет как символ любви, согласия и благополучия.

Однако, если повернуть поясок го-

4^a



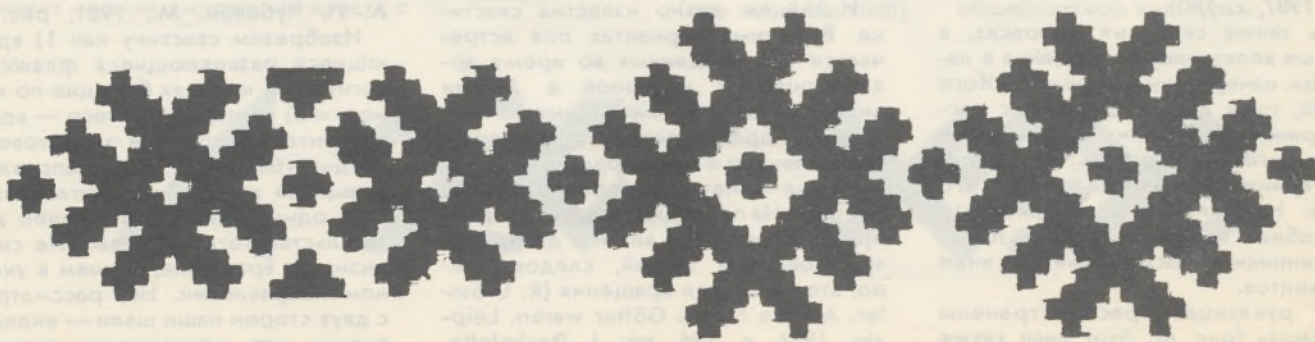
4^b



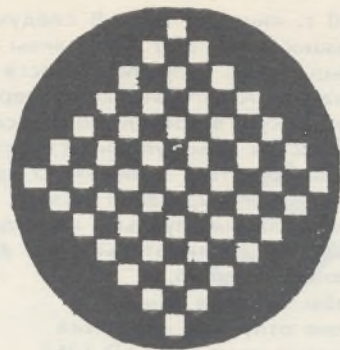
4^c



5



ризонгально, как он и носится в качестве элемента одежды, то значение женских и мужских линий по Э. Брaстинушу перепутывается. Невозможно объяснить, почему у «метелочки» нет главного стержня — прутикового стебля, почему «метелочек» две и отчего каждая повернута в противоположную сторону от средних горизонтальных линий? В народных песнях прутик есть у Деклы (сходное с Лаймой мифологическое существо) (LD 31021), а у Лаймы прутик (LD 30735) или метелочка (LD 1101). Наконец, археолог и этнограф А. Карнупс говорил автору этих строк, что Э. Брaстинуш признавался ему в недостаточности своих знаний в пору написания своей «Ornamentika» (1923).



6



7"



7^b

На поясах нередко повторяется узор, именуемый «дубок» (рис. 5), это установлено Я. Ниедре (Krustpils arvidus jostas, Valsts Vēsturiskā muzeja Krājumi, I, M. Silina red. Rīgā, 1930, с. 15); подобным символом у народов Дальнего Востока обозначается колодец. Кроме более простых «дубков» о восьми ветвях встречаются на поясах и более раскидистые, в двенадцать ветвей. Отгадка народной загадки «Большой, большой дуб, у дуба двенадцать ветвей, на каждой ветви 4 гнезда, в каждом гнезде 7 яиц» (FS 1306, 319) — год с месяцами и неделями. Очень похожая загадка, тоже про дерево с 12 ветвями, причем у каждой еще 30 веточек, отгадка которой — год с месяцами и днями, бытовала у принадлежащих к индоевропейским народам армян и курдов древней области Мокс, которых во время первой мировой войны завоевали и уничтожили турки (И. А. Орбели. Фольклор и быт Мокса. М., «Наука», 1982, с. 122, № 50).

Пояс с рядом многих одинаковых «дубков» (т. е. лет) считается календарным символом гармоничного и долгого жизненного пути, может быть, и пожеланием долгих лет счастливой жизни. В старину пояса с орнаментом дарились близким людям по торжественным случаям, особенно на свадьбу, их повязывали через плечо в знак особого уважения.

Для сравнения: вплетенное в пряжу узелковое письмо календарей — это семейные или домашние хроники, хранившие отметки о реальных событиях (А. Celma. Savu gudrību glabā mezglu raksti. Dabas un vēstures kalendārs, 1987, с. 180).

Есть также сведения о поясах, в которые вплетались посвящения в латинском начертании, например «Кого люблю, тому дарю». Видимо, с распространением умения читать дарительница-ткачиха боялась, что адресат старинного узора не поймет его смысл. Надо полагать, однако, что у подобных посвящений были предшественники — посвящения в виде орнаментов.

На рукавицах распространены «стожары» (рис. 6). Этот знак также

исследовал Я. Ниедре (Latviešu cimdi. Valsts vēsturiskā muzeja Krājumi, III, M. Silina red., Rīgā, 1931, с. 18). В большинстве вариантов «стожары» изображаются клеточкой 7×7 — «звездочками» (см. «Latvju raksti» — 2; F. Sudmalis — Cimdu raksti, Rīgā, 1961). Но по народной традиции в «стожарах» семь звезд. На рукавицах «стожары» часто помещаются рядом с «утренней звездой». А осенним утром на небосводе Аусеклис (Сириус) тоже виден не очень далеко от Стожар (см. V. Grāvītis. Ausekla kāzas. Ежегодник «Varavīksne», 1988, с. 146—155).

Индийцам давно известна свастика. В разных вариантах она встречается и в найденных во время археологических раскопок в Латвии виллайне, да и во многих частях света — на древнегреческих амфорах, выставленных в ленинградском Эрмитаже, на монетах народов Древнего Востока. На последних можно увидеть при свастике и три ветви и даже ноги трех бегущих людей, следовательно, это — символ вращения (R. Drössler. Als die Sterne Götter waren. Leipzig, 1976, с. 196, по: J. Dechelette,

Le culte du Soleil aux temps préhistoriques. Revue Archeologique, Tome XIV, Paris, 1909). В другом варианте — на дне найденного в Самарре (Ирак) глиняного сосуда эпохи неолита изображены четыре женщины, радиально обращенные к центру и повернутые каждая в свою сторону, их длинные развевающиеся волосы указывают направление вращения или по крайней мере направление ветрокружения. Вокруг них еще восемь вращающихся существ (Багдадский музей. По: История искусства зарубежных стран. Под редакцией М. В. Доброклонского и А. П. Чубовой. М., 1981, рис. 21).

Изобразим свастику как 1) вращающиеся развевающиеся флажки, 2) согнутые в коленях бегущие по кругу ноги и 3) сегнерово колесо — во всех вариантах повернутые одинаково. Нетрудно убедиться, что и направление вращения во всех вариантах получается одинаковым. Это лишний раз доказательство того, что свастика символизирует вращение, причем в указанном направлении. Но, рассматривая с двух сторон наши шали — виллайне, видим, что направление вращения

здесь противоположное, и трудно определить, где «лицевая сторона» виллайне, а где изнаночная. К тому же во многих вариантах свастики так усложнены дополнительными ветвями, что направление вращения остается подчас непонятным.

Взглянем на Полярную звезду. Спустя несколько часов посмотрим на нее вновь, и так всю ночь. Мы увидим, что другие звезды еженощно как бы совершают вокруг Полярной звезды один оборот, и всегда в одном и том же направлении — против часовой стрелки.

Если же, напротив, мы будем обходить небо ежевечерне в один и тот же час и с точностью до минуты целый год подряд, то заметим, что все неподвижные звезды (не считая Луны и планет) совершают один оборот, тоже против часовой стрелки, и через год возвращаются назад на прежние места. Так в течение года совершает оборот весь звездный полог — весь «дуб года» с «восковой мельничкой» на верхушке, показывающей, в каком направлении должно идти вращение:

Чья это восковая мельничка
Виднеется на верхушке дуба?
Сына Диевса мельничка это,
А мелет на ней дочь Солнца. LD 33796.

Кто однажды пытался крутить ручную мельницу, тот знает, что это легче делать правой рукой и притом против часовой стрелки.

Исследовательница народных поверий доктор биологических наук Э. Шимкунайте (Вильнюс) приходит к выводу, что знак, несколько похожий на свастику, который «вращается» в направлении к Солнцу, означает счастливый день, и наоборот. Следует напомнить, однако, и тот случай, когда знахарю(-ке) необходимо было символически повернуть время вспять.

Примечание: Одинаковое направление движения небесных светил, если взгляд устремлен ближе к небесному своду, к Полярной звезде, представляется противоположным движению часовой стрелки, но если обратить взгляд ниже и к горизонту, наоборот, выглядит как совпадающее с ходом часовой стрелки и движением Солнца.

На тесте для выпечки хлеба, помещенном в квашню, в старину выдавливали крест (LTT 18243), а также три похожих на знак умножения креста с



9

одного края квашни (разыскания этнографа Национального парка «Гауя» И. Чекстере). Буханочка, слепленная из ржаной муки, перед выпечкой помечалась крестом (LTT 18311—18318). Посреди буханочки выдавливался крест, ориентированный подобно знаку «плюс» (Миллия Руцина, Гауиена, разыскания автора). Иной раз выдавливали крест восьмилучевой (LTT 18310).

Во время говения огонь бережно хранили, зарывая вечером в золу, чтобы утром можно было раздуть его опять (LTT 30918). Вечером огонь следует засыпать землей, перекрестить таким вот крестом (рис. 8а) и произнести:

Спи, мой огонечек,
Без ножек, баю-бай,
Чтобы пришли девушки в гости
К моему огонечку.

(М. Калниньш, Лиелауцская волость, «Атрунели», 1927, архив отдела фольклора Института языка и литературы Академии наук ЛатвССР, 150, 1079).

Наутро огонь надобно перекрестить таким же манером и произнести: Гори, мой огонек,
В ледяной расщелинке;
Двумя камнями обкладывала,
Двумя большими кусками (дерева?);
Не собирайся в путь, не поднимай крылья.

(там же, 150, 1080)

Но если дом горит, надо на листке бумаги нарисовать четыре пентаграммы, а на трех других бумажках по одному такому кресту (рис. 8а) и бросить в каждый угол горящего дома по бумажке, приговаривая:

«Ой ты, огонь, ты, жара, ты, пламя... стой смирно и дальше не ходи...» (там же, 150, 1085).

Ногой огонь в очаге ворошить нельзя ни в коем случае, можно выткнуть глаза Лайме (LTT 30921). Вечером надо вынуть из костра камешки и кусочки кирпичей, чтобы Лайме было мягко спать (LTT 30915). По большим праздникам следовало высекать огонь заново, а прежний загасить, тогда счастье (Лайма?) придет вновь (LTT 30916). И еще — если, разводя в плите огонь, положить два полена крестнакрест, у черта в аду голова заболит (LTT 31006).

Вспомним, что в древности для добывания огня нередко терли друг о дружку два куса дерева, держа их крестнакрест. Есть и народная примета «одно полено не горит», в чем могли, верно, убедиться туристы. Но такое же выражение бытует и у литовцев, а значит, оно было известно, надо полагать, по крайней мере с XIII века, еще до того, как немецкая оккупация разделила латышей и литовцев, чем отсекала эти народы от общекалтской культуры.



9

Обобщим сказанное. Получается, что обыкновенный, похожий на «плюс» или знак умножения крест, а еще более вариант, дополненный перекрещенными ветвями (рис. 8а), есть и огненный крест, а Лайма является также и заступницей — покровительницей огня и домашнего очага. Огненный крест одновременно является знаком Лаймы. Если этот знак уважается — изображается в золе над угольями, в виде двух кусков дерева, из которых добывают трением огонь, или двух скрещенных поленьев, — Лайма приходит, дарует и поддерживает огонь. Если нет, то нет.

Чтобы женщины, выполняя тяжелую работу, не надорвались, на талии повязывался широкий, украшенный орнаментальным узором пояс, причем послонно, шириной в две ладони. К тяжелым работам причислялись жатва ржи (серпами), работы в риге, работы на мызе. Считалось, что эти пояса защищают женщину от злых духов. Узоры показаны на рис. 8б (I. Niedre. Krustpils

arvidus jostas, Valsts Vēsturiskā muzeja Krājumi, I, M. Silina red., Rīgā, 1930).

Выражение «одно полено не горит» имеет и другой смысл. В любви нужны двое. А Лайма, как известно, покровительница любви и заступница влюбленных.

В старину девицы на выданье вязали особые рукавицы для парня, когда он впервые придет женихаться: чтобы знал, нравится он девушке или нет. Необходимо было связать три пары рукавиц. Кому даст, с тем обручена.

Приходили разные, приходили всякие,
Я рукавичек своих не давала;
Тому я свои рукавички дам,
Кто будем моим женихом. 15559

Я своему парню
Узорчатые рукавицы дала:
Парень мне за рукавицы
Золотое колечко купил. 15551

Вяжите, девушки, что вяжете,
Вяжите белые перчаточки!

Я дам их парню
За то, что сено накосил. 39701

Брачные рукавицы невесты и жениха бывали и белыми, с красивыми рядами узоров, длинной резинкой, несколькими рядами бахромы на конце и совершенно белыми пальцами.

В обручальных и брачных рукавицах видны среди прочих и мелкие красные (символический цвет огня и любви), похожие на знак умножения узоры с зеленым цветом надежды посредине. На более роскошных рукавицах средняя орнаментальная полоска шире, и в ней просматривается более или менее явный ряд чем-то похожих на знаки умножения узоров красного цвета или же белых на фоне красной полоски, в одном из вариантов встречается и зеленый цвет надежды. (Источник: J. Niedre. Latviešu cimdi. Valsts Vēsturiskā muzeja Krājumi, M. Silina red., III, Rīgā, 1931, см. также табл. IX—XVII.)

Перевод
ЛЕОНИДА ГУРЕВИЧА



- 1¹ — латышское Солнышко.
- 1² — древнепрусское Солнышко с упряжкой лошадей.
- 1³ + 1⁴ — бог Солнца на барельефе Шамма, Месопотамия, ок. 800 года до н. э.
- 1 — символ Солнца у древних египтян.
- 2 — Аустриньш, дерево Аустры (Авроры).
- 2 — Аустрия, средняя часть вышивки. Оригинал красного цвета. В ветвях видны стилизованные петухи — пробуждающие рассвет и Солнце, — они упоминаются и в народных песнях. В оригинале под этим деревом Аустры видны, соответственно, и символы ночи — совы. Рукавная вышивка рубашки. «Latvju Raksti» — I, рис. XXXIX — 381.
- 3 — Аусеклитис.
- 3 + 3 — Иштар, т. е. главное после Солнца и Луны светило, барельеф на Вавилонском приграничном камне. 14 век до н. э., по R. Dröller, Als die Sterne Götter waren, Leipzig, 1976.
- 4 — поясик с фазами Луны.
- 4 — символ меняющейся Луны для Индры.
- 4 — символ меняющейся Луны для Зевса.
- 5 — Озолиньш («Дубочек»), годовой дубочек, год.
- 6 — Сиетиньш («Стожары»).
- 7 — Древнегреческие «friskeles» [символ вращения] — по кругу бегущие ноги на монетах, 4—5 век до н. э. По L. Anson. Numismata graeca. Greek Coin — Types. London, 1910—1913.
- 7 — символ изменения фаз на дне глиняной миски [времен неолита] из Месопотамии.
- 8 — кони Усия и повозка Солнца.
- 9 — знак Солнца, Лаймы и Любви.
- 9 — крестовая вышивка на поясах, которая охраняла его владельца от злых сил.

ELLIOTT SHARP

RHYTHMS AND BLUES

TO THE LISTENERS IN RIGA - I AM VERY
MOVED TO BE HERE - MY EARS AND EYES AND
THOUGHTS HAVE BEEN OPENED WIDE, I
HOPE TO RETURN TO PLAY HERE AGAIN.
Elliott Sharp



«TOO SHARP TO MAKE A NOISE ONLY»

Беседа Антония Мархеля с композитором и музыкантом ЭЛЛИОТ ШАРПОМ, живущим в Нью-Йорке и создающим музыку, которую иногда называют шумом.

А. М.: Эллиот, готовясь к интервью, я пересмотрел свой архив, но кроме статьи Билла Милковски в «Даун Бите» ничего больше о тебе не обнаружил. Судя по публикациям, из музыкантов нью-йоркской «шумовой волны» наибольший интерес вызывает Джон Зорн. Почему такое особенное внимание у прессы именно к нему!

Э. ШАРП: Обо мне были еще публикации в «New York Times» и других изданиях, но, вероятно, менее тебе доступных. Что касается Джона Зорна, то его издает большая компания, а это принципиальная разница. Если люди от бизнеса на искусстве решат, что кого-то нужно продать, о нем мгновенно появляется множество статей, интервью, рекламы. Журналисты, кстати, тоже предпочитают писать о тех, кто сотрудничает с известными компаниями, не знаю, как у вас...

А. М.: Из-за отсутствия необходимой информации, перед тем как перейти к разговору о творчестве, я хотел бы услышать историю, что делал Эллиот Шарп до того, как появился на нью-йоркской сцене, как он начал интересоваться музыкой.

Э. ШАРП: Моим первым инструментом стало пианино, на котором я занимался с 6 лет и где-то года два штудировал этюды Шопена и Листа. Это довольно хорошая практика для пальцев, но совершенно непригодная для души. Затем в школе я переключился на кларнет и снова играл классику. Но хочу заметить, что в то время моим основным увлечением была не музыка, а наука. С раннего возраста я зачитывался книгами по астрономии, физике, математике, и в 1968 году у меня даже была возможность поработать ассистентом в Питтсбургском университете. Находясь рядом с настоящими учеными, я и сам ощущал себя ученым, хотя мне было только семнадцать лет.

Тогда же я приобрел и свою первую дешевую электрогитару. По радио звучал Джими Хендрикс и «Джефферсон Эйрплейн», а я начал действительно открывать для себя музыку Коулмена и других непопулярных музыкантов. Позднее произошло знаменитое событие — я начал слушать записи. Я очень переживал, что не стало такого музыканта. Тем летом все свободное время, которое у меня оставалось после работы в лаборатории, я использовал для создания различных электронных приспособлений для своей гитары. Кроме этого, устроился диск-жокеем на радио и ближе к полуночи начинал прокручивать Сан Ра, Колтрейна, Колмена и других непопулярных музыкантов. Позднее произошло знакомство с хорошим роком: «Кэптин Бифхарт», Френк Заппа — хотя первые мне всегда были ближе. Так постепенно музыка стала вытеснять другие интересы, казаться более соответствующей моим устремлениям. Кстати, быть ученым в период, когда молодежь протестовала против войны во Вьетнаме, — значило по-

мочь военным. И я решил отдать предпочтение гитаре. Книга Джона Кейджа «Silence» подтолкнула меня к экспериментам, препарированию, кластерной технике, я начал слушать этническую музыку, современных композиторов.

Тем не менее поступил я в Корнельский университет на отделение антропологии. Единственно ценное, что я там приобрел, — это опыт, как нужно учиться. Основное внимание продолжая уделять экспериментам в области музыки, я вскоре понял, что нужно менять университет. Меня привлек небольшой колледж южнее Нью-Йорка, в котором преподавал Росвелл Радд. Его игра на пластинках Арчи Шеппа, и особенно у Чарли Хейдена в «Liberation Music Orchestra», мне очень нравилась, поэтому хотелось позаниматься у этого музыканта. Помимо теории, истории мировой музыки Радд учил нас, как добиваться необходимого, присутствующего только этому инструменту тембрального звучания. Между прочим, именно он поддержал мое желание играть на саксофоне, и в колледже я практиковался в основном на этом инструменте.

Мои занятия продолжались до 1972 года, а затем я двинулся в Буффало, где впервые ощутил в себе силы создавать крупные произведения, работая в студии электронной музыки. Хотя еще в колледже у меня накопился определенный опыт, там были написаны пьесы для электрической гитары, бас-гитары и двух перкуSSIONИстов, для различных джазовых ансамблей, вернее — просто ансамблей, но все это были небольшие работы. В Буффало я познакомился с Робертом Превитом, с которым сотрудничаю до сегодняшнего дня. С ним мы и исполнили мою первую большую композицию для электрического струнного квартета, барабанов, перкуссии и конгов, которая называлась «Итакские Братья» и была посвящена узникам тюрьмы в Итаке. Боб играл на барабанах, Дональд Нэк — на перкуссии (его часто приглашали исполнять музыку Кейджа), и Рон Розенблум — на конгах. Струнный квартет состоял из электрогитары, бас-гитары, скрипки и виолончели.

Первая часть композиции строилась на противопоставлении различных ритмических рисунков: Превит импровизировал в роковой манере, Нэк — в стиле, как я называю, современной классической музыки, а Розенблум — на конгах. В это время скрипка вела полностью написанную партию в микротоновой системе. Во второй части бас и барабаны держали очень специфический ритм, а остальным участникам была предоставлена возможность импровизировать, хотя это была также специфическая импровизация — для меня с самого начала было важным использовать импровизацию в своем твор-

честве, но чтобы общая фактура музыки оставалась такой, как ее задумал я. Часто случается, что музыкант исполняет произведение, как он чувствует, а не так, как планировал композитор.

А. М.: Ты уже начал говорить о своем подходе к музыке, о требованиях к музыкантам, но, насколько мне известно, ты пишешь различную музыку: и для роковых групп, и для камерных составов, и для достаточно джазовых ансамблей, и даже оркестров. С одними музыкантами ты играешь сам, другие исполняют твои произведения, руководствуясь только партитурой. Как в этом случае реализуются твои принципы?

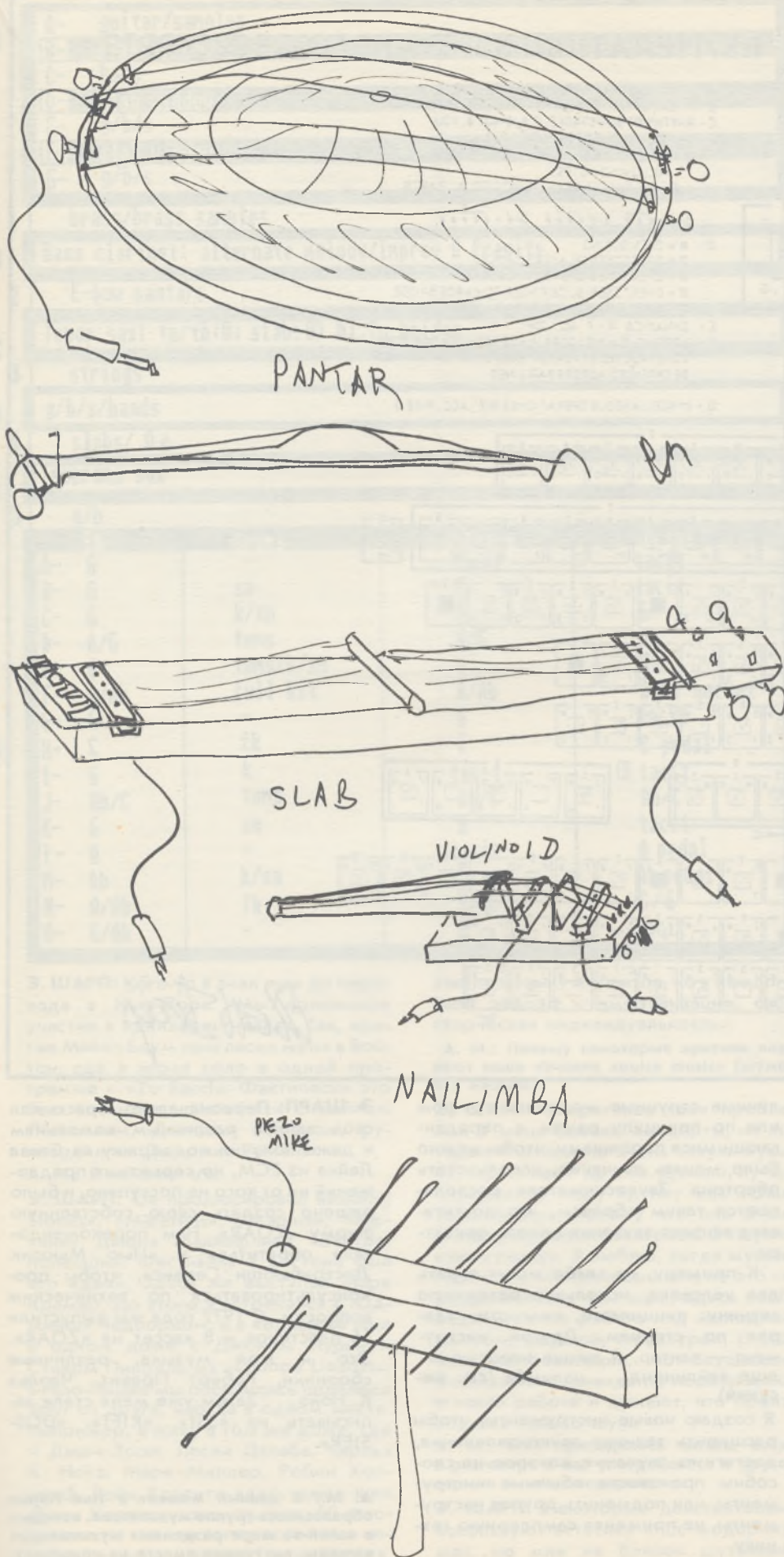
Э. ШАРП: У меня действительно можно услышать элементы рока, классической музыки, джаза. Этот принцип я использую при создании любого произведения: для струнного или духового квартета, пиано соло или камерного ансамбля. Как музыкант я формировался довольно эклектично, я мог играть рок, блюз, боп в различных стилях, но не хотел имитировать чью-то манеру. Моя задача была отфильтровать нужное только мне, найти собственный голос. Слушая любого музыканта, даже таких, как Сесил Тайлор или Орнетт Коулмен, я думал о том, нужно ли это мне, и старался изучить как можно больше музыки, переведя ее на мой язык.

Расставшись с наукой, я не порвал с нею окончательно. Мне на самом деле кажется, что при создании произведения и в импровизации нужно быть еще и физиком, математиком, соприкасаясь с динамикой композиции, звучанием самой музыки. Часто при создании структуры, определении ритма, мелодии я использую приемы фрактальной геометрии и серию Фибоначчи, особенно при работе над музыкой для струнного квартета или моего ансамбля «CARBON».

(Серия Фибоначчи — это ряд чисел, образуемых суммированием данного числа и ему предыдущего, начиная с (0,1). Это (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) Струнные в «Tessalation row-re / iteration» играют в соответствии с отношением чисел в сериях Фибоначчи 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5. Средняя величина этих пропорций примыкающих цифр образует пропорцию $\Phi(1,0)$, известную как золотое сечение, применявшееся в пирамидах, искусстве Ренессанса и архитектуре.

В обоих произведениях используется серия Фибоначчи для создания формы, ритма и мелодии.

Из аннотации к пластинке «TESSALATION ROW»)



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (РИСУНОК ЭЛЛИОТА ШАРПА).

Кроме своей группы «CARBON» я играю в трио «SEMANTICS» с Недом Ротенбергом и Сэмом Беннетом, в ансамбле «SCANNERS» (Перси Джонс на басы, Дэвид Линтон на барабанах), сотрудничаю со струнным квартетом Солдера и еще в нескольких проектах.

А. М.: Мне несколько раз приходилось слышать, как тебя сравнивают с Гленном Бранко. Что ты сам думаешь по этому поводу?

Э. ШАРП: Это совсем не верно, я свои идеи начал развивать еще в колледже. И главное — для меня творчество Бранко в музыкальном плане очень ограничено, ритмически мертво, тоталитарно, если так можно сказать. Мне очень важно, чтобы музыканты, играя в очерченных мною рамках музыки, оставались индивидуально-стями. Они ведь в других составах исполняют композиции Энтони Колмена или Бобби Превита, и крайне необходимо, чтобы они сохраняли свое лицо. В этом плане для меня лучший пример — Дюк Эллингтон, который умел раскрыть индивидуальность каждого музыканта, используя его для реализации своих замыслов.

А. М.: Должна ли публика быть подготовлена для восприятия твоей музыки?

Э. ШАРП: Я считаю, это необязательно. Мне как-то пришлось играть в одном небольшом городке в Венгрии, где кроме диксиленда из Англии никто до меня не выступал, и я чувствовал, что они понимают мою музыку. С другой стороны, где-нибудь в Нью-Йорке или Швейцарии аудитория может быть совершенно непробиваемой, хотя и полагающей, что знает все. Ваши слушатели тоже очень отзывчивые, конечно, частично это из-за того, что мы с Запада.

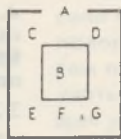
А. М.: Расскажи, пожалуйста, о своих наиболее крупных работах, особенно о «LARYNX». На мой взгляд, это одно из твоих несомненных достижений.

Э. ШАРП: У меня есть несколько произведений для большого состава «CROWDS AND POWER». Написанное в 1982 году для 21 музыканта, оно навеяно философией Элиаса Канетти; «SILICONTENTATION» было создано для 9 музыкантов; и целый ряд других.

«LARYNX» была заказана для Бруклинской музыкальной академии. Премьера этой композиции состоялась в ноябре 1987 года и действительно имела успех. «LARYNX» (англ. гортань) она названа потому, что в основу были положены музыкальные традиции нескольких народов, в том числе канадского севера, и монгольское горловое пение «хуми». Я не хотел имитировать это пение или подражать народным инструментам, для меня каждый из них в отдельности звучал как оркестр или сменяющие друг друга оркестры. Я попытался перевести эти ощущения в соответствии с моими принципами, используя принцип Фибоначчи. Помимо

TESSALATION ROW - RE/ITERATION: NOTES AND SCORE EXCERPTS

OPERATIONS: A - # OF MEASURES, "0" = REPEAT UNTIL CUE
 B - PITCH, C=1/1 G=3/2 Ab=8/5 A=5/3. ■ = TACIT
 C - RHYTHM OF BOWSTROKE, IF B IS NOT 0, YOU MAY MOVE YOUR STOPPING FINGER
 ⊖ = NOTE HELD 4 BEATS, TIED TO PREVIOUS AND FOLLOWING NOTES
 o, d, e, f, g DIVIDES MEASURE INTO EQUAL PARTS



$3/d = \frac{3}{d}, 3/d = \frac{3}{d}, 5/d = \frac{5}{d}$

D - ○ = OPEN STRING
 ○ = OVERTONES (PLAYER'S CHOICE)
 ⊖ = OVERTONES/OPEN STRINGS MIXED
 ⊘ = OVERTONES, SLIDE FINGER TOWARDS BRIDGE
 ⊙ = SLIDE FINGER AWAY FROM BRIDGE

E - DYNAMICS P - F < >

F - LOOPING, 0 = NO LOOPS, # = LENGTH OF LOOP TO BE CONSTRUCTED BY PLAYER. LOOPS MAY OR MAY NOT BE EXTENDED ACROSS BAR LINES

G - MISCELLANEOUS OPERATIONS (RIT, ACC, PIZZ)

Handwritten signature: David J. [unclear]

ПОЯСНЕНИЯ К ПАРТИТУРЕ.

обычных музыкальных инструментов я применил в этой работе некоторые созданные мною инструменты.

А. М.: Я намеревался тебя расспросить об этом подробнее.

Э. ШАРП: Это увлечение у меня началось в высшей школе под влиянием Харри Парча, его выдающейся музыки. Вначале, как я уже говорил, это были различные приспособления для электрической гитары и примитивные струнные инструменты. В 1972 году я сконструировал особую гитару для исполнения индийской музыки.

А. М.: Тебе нравится индийская музыка!

Э. ШАРП: Я могу слушать ее бесконечно, хотя последнее время увлекся корейской и пару лет изучал корейский музыкальный фольклор, даже специально жил в Корее.

Серьезно заниматься конструированием я начал в 1980 году, когда переехал в Нью-Йорк. Я создал раз-

личные струнные модели с грифом или по принципу рамки, с передвигающимися порожками, чтобы можно было менять звучание, использовать обертона. Звукосниматели располагаются таким образом, что достигается эффект звучания целого оркестра.

К примеру, на слабе могут играть два человека, используя различную технику: пиццикатто, смычком, ударяя по струнам. Другой инструмент — пантар. Я лучше нарисую... еще вайлинонд... налимба (см. рисунки).

Я создаю новые инструменты, чтобы расширить технику звукоизвлечения, достигнуть звучания, которое не способен произвести обычные инструменты, или подменить другие инструменты, не применяя самплерную технику.

А. М.: Кто первый стал издавать тебя на пластинках!

Э. ШАРП: Первоначально я рассылал свои записи различным компаниям и даже получил поддержку от Стива Лейка из ECM, но серьезные предложений ни от кого не поступало, и было решено создать свою собственную фирму «ZOAR». Нам порекомендовали обратиться в «Нью Мьюзик Дистрибьюшн Сервис», чтобы проконсультироваться по техническим вопросам. С 1977 года мы выпустили 15 пластинок и 8 кассет на «ZOAR». Это и моя музыка, различные сборники, Роберт Превит, Чарльз К. Нойз... Затем уже меня стали записывать на «SST», «RIFT», «DOS-SIER».

А. М.: В данный момент в Нью-Йорке образовалась группа музыкантов, которые в какой-то мере разделяют музыкальные взгляды, выступают вместе на концертах, участвуют в записях друг у друга. Каким образом вы сформировались!

A	A- guitar/samples
	B- slab window
	C- bass
	D- slab window
	E- g/b/s
	F- slab window
	G- g/b/s
1	brass/brass samples
B	Bass clarinet: alternate melody/improv @ Previte
2	E-bow pantars
C	Tenor sax; tp/tb:Q; slab:Q) hi, lo, bridge
3	strings
D	g/b/s/hands
4	slabs/ Q Δ
E	soprano sax
5	g/b

	Drums	strings	brass
A- G	-	tacit	tacit
B- G	sn	G	tacit
C- G	k/sn	G	G
D- A/G	toms	A/G	A
E- G	toms/k/sn	G	G
F- A/Ab	full kit	A/Ab	A/Ab hocket
G- G	-	G	tacit
H- C	fk	C	C pedal
I- G	k	tacit	tacit
J- Ab/C	toms	Ab/C	Ab/C
K- G	sn	G	tacit
L- A	-	tacit	A pedal
M- Ab	k/sn	tacit	Ab pedal
N- A/Ab	fk	A/Ab	C/G
O- G/Ab	-	G	tacit

Э. ШАРП: Кого-то я знал еще до переезда в Нью-Йорк. Мы принимали участие в одних фестивалях. Так, критик Майкл Блум пригласил меня в Бостон, где я играл соло в одной программе с «Zu Band». Фактически это был ансамбль «Materials» с Биллом Ласвеллом, Дэвидом Алленом, руководил им Джорджио Гомельски.

А. М.: Я не знаю его.

Э. ШАРП: Он продюсировал «Rolling Stones», «Materials», «Magma», пластинку Джона Маклафлина «Экстра-полейшн». Фестиваль в Бостоне был его идеей. Здесь же выступал Марк Крамер. До этого я встречался с Юджином Чедборном, а в колледже жил в одном доме с Джоном Лурьи и Стивом Пиколло из «Lounge Lizards», в Нью-Йорке мы поселились недалеко друг от друга, иногда в одном месте. Например, я живу в том же доме, где и Джон Зорн, Лесли Далаба, Чарльз К. Нойз, Марк Миллер, Робин Холкомб, Вейн, Хорвитц здесь даже жил Джек Керуак — это, правда, 50-е годы, но не менее интересно. Мы соседи, хорошо знаем друг друга, сегодня играем в моем концерте,

завтра музыку Хорвитца, но у каждого свой подход к импровизации, своя творческая индивидуальность.

А. М.: Почему некоторые критики называют ваше течение «noise music» [шумовая музыка].

Э. ШАРП: У критиков свои проблемы! У меня бывают концерты, на которых я исполняю очень тихую музыку, так же как и другие. Думаю, лучше определить нашу группу как «Daun Town Scene», потому что она очень эклектична, хотя мы играем и «шумовую музыку». Я люблю, когда музыка горячая и «непричесанная», но это гораздо больше, чем шум, здесь необходима та же работа над мелодией, ритмом, формой, структурой, способом импровизации, но слушатели, к сожалению, иногда не подозревают о такой работе и думают, что производится только шум.

А. М.: Мне приходилось читать, когда в разговоре о вас употреблялись и другой термин — «постмодернизм».

Э. ШАРП: Некоторые действительно используют эстетику «постмодернизма», но мне не близок шуточный, облегченный подход к музыке. Неко-

торые добились коммерческого успеха благодаря этому. Джон Зорн и Вейн Хорвитц работают сейчас с «Nonesuch Record», но у Зорна последнее время слишком много заимствованной музыки у других композиторов. Это практически не его музыка, а микширование различных произведений, фрагментов. Это очень остроумно, пользуется популярностью, но надо очень осторожно обращаться с подобными приемами. самая большая проблема, когда ты хочешь повторить свой успех. Посмотри на Филиппа Гласса — для меня он сейчас жалкая пародия на свои ранние работы, дешевый юмор. Когда тебе начинает нравиться все, что ты делаешь, значит, ты стал писать плохую музыку.

А. М.: А тебе не хотелось бы повторить успех некоторых своих работ!

Э. ШАРП: О, нет! Я стараюсь двигаться вперед. Мое последнее увлечение — музыка для театра и кино, где я работаю вдвоем с Лиа Сингер. В феврале мы планируем закончить работу над фильмом с моей музыкой.

А. М.: Как принимают твою музыку в США?

Э. ШАРП: Америка — очень консервативная страна. Здесь трудно организовать большое турне. Играть можно только на Западном побережье, в Чикаго, Нью-Йорке. Хотя Нью-Йорк — это не США, как сказал американский писатель и актер Сполдинг Грей: «Нью-Йорк — это остров за пределами Америки». Это в Европе можно выступать до 5 месяцев в году.


А. М.: Кто из музыкантов оказал на тебя влияние?

Э. ШАРП: Хендрикс. Он определил возможности инструмента. И еще, конечно, Дерек Бейли. Когда я его впервые услышал, то сразу понял, что он играет совершенно новую музыку и использует совершенно новую технику. Кажется, это было в 1972 году. Кроме них, Сонни Роллинс, Альберт Айлер, Колтрейн, Коулмен, Майлс Девис, композиторы: Парч, Кейдж, Бах. Я мультиинструменталист, в одном случае играю на гитаре, в другом на кларнете или саксофоне, поэтому на меня оказывали влияние различные музыканты.

А. М.: Если бы тебе пришлось менять место жительства, где бы ты хотел поселиться?

Э. ШАРП: Только в Нью-Йорке. Это специфический город, где перемешано много культур, происходит столько вещей, хотя месяца три пожил бы в СССР. Мои родители отсюда: мать в 1917 году уехала из Киева, а отец, возможно, работал на той площади в Вильнюсе, где стоит памятник Ленину. Мне очень интересно прочувствовать эту атмосферу. Думаю, если можно было бы на три месяца американцев отправлять в Союз, а желающих из СССР — в Штаты, то правительствам было бы нечего делать.


LARYNX - BRASS/SLABS/PANTARS TUNING: C Ab A G

A David Fulton and Ken Heer play  on the slabs, shifting target strings, playing single strings or groups; Jim Staley and Lesli Dalaba use fingers to mute strings to produce overtones. During "Windows", strings may be open.

1 t a c i t


B improvise in sections Q Previte - use whoops, gliss, mutes, etc. D.F. plays pantar rhythm beginning third melody section.


2 D.F., K.H. play pantars w/ E-bows. L.D., J.S. tacit

C D.F., K.H. play slabs with cloth mutes on both sides of bridge. SL1: 50%, SL2: 60%. Q: 1=low, 2=hi, 3=bridge. L.D., J.S. play  on Q, pedal or overtones of C, G, A, Ab.

3 t a c i t

D D.F. plays slab bass. L.D., K.H., J.S. improvise sparsely.

4 D.F., K.H.  slabs. Δ open strings Q. Bridge: Q, 50%

E Q: hold F/G pedals. Last section: Ab-D-Eb/Eb-A-Bb 

5 tacit

A- tacit
B- tacit
C- G
D- A
E- G
F- A/Ab hoquet d
G- tacit
H- C pedal
I- tacit
J- Ab/C
K- tacit
L- A pedal
M- Ab pedal
N- C/G
Q- tacit

Players improvise loops, mostly slow, on pedal points and overtones unless other instructions are given.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

«ДАУН БИТ» («Down Beat») — название популярного джазового журнала, издающегося в США. ДЖОН ЗОРН (John Zorn) — нью-йоркский саксофонист и композитор, принадлежащий к третьему поколению американских новоджазовых и импровизационных музыкантов; в конце 70-х годов обратил на себя внимание новаторством в области композиции и импровизации, в 80-е годы стал широко известен благодаря участию в группе «Golden Palatinos» и записи более чем 15 пластинок, 3 из которых выпущены на фирме «Nonesuch», филиале корпорации «Warner Communication», среди тех интерпретация музыки Энни Морриконе. «ДЖЕФФЕРСОН ЭЙРПЛЕЙН» (Jefferson Airplane) — популярная в 60-е — нач. 70-х годов группа из Сан-Франциско, исполнявшая психоделический рок. САН РА, Дж. КОЛТРЕЙН — см. «Родник» № 10, 1989, интервью с К. Катлером. ОРНЕТТ КОУЛМЕН (Ornette Coleman) — известный джазовый композитор и музыкант (альт-саксофон, реже труба и скрипка), стоявший у истоков «free-jazz», в конце 70-х годов сформировал новое течение в джазе, базирующееся на им же разработанной «гармологической теории». «КЭПТИН БИФХАРТ»

(«Captain Beefhart») — калифорнийский рок-ансамбль конца 60-х — нач. 70-х годов, в музыке которого ощутимо влияние городского блюза, а в текстах — эстетики дадаизма. «SILENCE» (Middletown: Wesleyan University Press, 1961) — книга эссе и лекций знаменитого американского композитора, теоретика многих фундаментальных положений современной музыки Джона Кейджа. РОСВЕЛЛ РАДД (Roswell Rudd) — американский тромбонист, член ассоциации «Jazz composers Orchestra», объединявшей в 60-е — 70-е гг. новаторов-музыкантов, противопоставивших себя устоявшимся традициям в джазе. АРЧИ ШЕПП (Archie Shepp) — тенор-саксофонист, начинавший как член ансамбля Дж. Колтрейна, развивший свой собственный стиль с использованием элементов африканской народной музыки и отошедший в дальнейшем от экспериментов в джазе. ЧАРЛИ ХЕЙДЕН (Charlie Haden) — контрабасист, член легендарного квартета О. Коулмена, известный своими политическими взглядами, которые нашли отражение в его композициях («Song for Che» и др.). ЭЛИАС КАХЕТТИ — см. его работу «Правитель и власть» («Родник» № 4, 89). ХАРРИ ПАРЧ (Harry Partch) — 1901—1974 гг., американский композитор-авангардист, со-

здавший свою музыкальную теорию, в которой нашли отражение восточные музыкальные традиции. ДЕВИД АЛЛЕН (David Allen) — гитарист, композитор, поэт из Австралии, организовавший в 70-е годы в Европе группу экспериментального рока «Gong». БИЛЛ ЛАСВЕЛЛ (Bill Laswell) — басист, продюсер фирмы «Celluloid/OAO», принимавший участие в концертах и записях ряда пластинок американских импровизаторов нового поколения; в собственных проектах ориентируется в основном на коммерческую разновидность нового джаза и рока. ЮДЖИН ЧЕДБОУРИ (Eugene Cheldbourue) — американский гитарист, отразивший на своей фирме «Парашют» начальную стадию развития музыкальных интересов молодых американских новаторов; в настоящее время соединяет в своем творчестве спонтанную импровизацию и стиль «Country & Western». НЕД РОТЕНБЕРГ (Nad Rothenberg) — американский саксофонист и кларнетист, обладающий великолепной техникой, организатор нескольких проектов с Шарпом.

ЛЕСЛИ ДАЛАБА (Lesli Dalaba) — труба; ЧАРЛЬЗ К. НОЙЗ (Charles K. Noyes) — барабаны, перкуссия; МАРК МИЛЛЕР (Mark Miller) — перкуссия; Робин Холкомб (Robin Holcomb) — композитор, пиано; ВЕЙН ХОРВИТЦ (Wayne Horvitz) — композитор, пиано; МАРК КРАМЕР (Mark Kramer) — пиано; Энтони Коулмен (Antony Kolemán) — композитор, пиано — американские композиторы и музыканты, которых Э. Шарп определяет как «Dawn Town Scene», т. е. сцена нижнего Манхэттена.

ДЖЕК КЕРУАК (Jack Kerouac), 1922—1969 гг., писатель, идеолог американского «потерянного» поколения 50-х годов. ДЕРЕК БЕЙЛИ (Derek Bailey) — ветеран английской импровизационной музыки, оказавший влияние практически на всех гитаристов, использующих современную технику. ТЕОДОР «СОННИ» РОЛЛИНС (Sonny Rollins) — известный негритянский тенор-саксофонист. МАЙЛС ДЕВИС (Miles Davis) — знаменитый джазовый трубач, считающийся одним из инициаторов применения принципа «модальности» в джазе и родоначальником джаз-рока. АЛЬБЕРТ АЙЛЕР (Albert Ayler) — известный американский тенор-саксофонист свободного джаза, погибший при не выясненных до конца обстоятельствах. «NEW MUSIC DISTRIBUTION SERVICE» — «Служба распространения новой музыки», основанная ассоциацией «Jazz composers orch» и расположенная на Бродвее; наиболее крупный в Америке центр, где можно получить информацию и приобрести записи независимых фирм грамзаписи.

Выборочная дискография Эллиота Шарпа:

1. «BOOTSRAPERS» (NEWALLIANCE REC.)
2. «VIRTUAL STANCE» (DOSSIER REC.)
3. «FRACTAL» (DOSSIER REC.)
4. «MARCO POLO'S ARGALI» (DOSSIER REC.)
5. «IN THE LAND OF THE YAHOO'S» (SST REC.)
6. «LARYNX» (SST REC.)
7. «CARBON» (ZOAR)
8. «(T) HERE» (ZOAR)
9. «I (S) M» (ZOAR)
10. «ESCAPE CHANSE» (ZOAR)
11. «RHYTHMS & BLUES» (ZOAR)
12. «RESONANCE» (ZOAR)
13. «HARA IMPROVISED MUSIC» (ZOAR)

С другими музыкантами:

1. «SEMANTICS» (RIFT REC.)
2. «SEMANTICS»; BONE OF CONTENTION (SST)
3. «MOFUNGO» (ZOAR)
4. WAYNE HORVITZ; «THE PRESIDENT» (DOSSIER)
5. SIM STALEY; «MUMBO JUMBO» (RIFT)
6. JOHN ZORN; «COBRA» (HAT ART)

ETC



Джон Худ (John Hood)



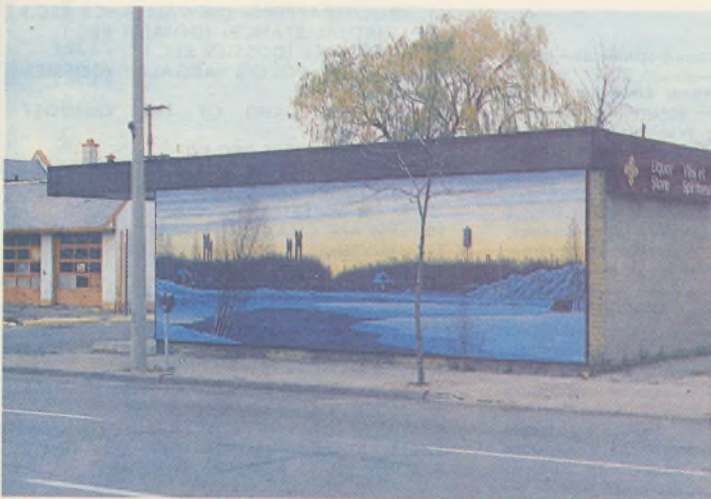
Джон Худ (John Hood)



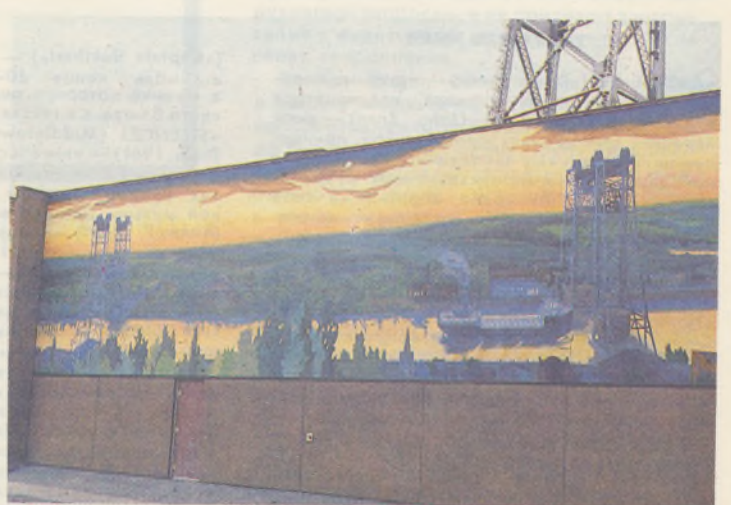
Рон Бэйрд (Ron Baird)



Росс Бэрд (Ross Beard)



Росс Бэрд (Ross Beard)



Грег Гаранд (Greg Garand)



ИРЕНА БУЖИНСКА ПЕРВАЯ, САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ

Картинной галереи под открытым небом, первой и самой большой, пока нет. Пока. Но адрес стоит запомнить — Канада, провинция Онтарио, Велланде, полчаса езды от Ниагарского водопада — не сомневаюсь, что жители маленького городка, невероятно чистого и обустроенного, осуществят свою мечту. Если будете в тех краях, съездите! Хотя бы за тем, чтобы лишний раз убедиться, как удачливо заключаются «художественные и финансовые сделки», в том, как «деньги делают деньги». Мы еще только начинаем постигать законы большого бизнеса на искусстве. Дело, пока чуждое нашему обществу, — художественная индустрия или экономическое «обеспечение» искусства. Но здесь, словно по учебнику, все это просто. Чудо природы — Ниагара — рядом. Миллионы туристов со всего света (16 млн. в год). Но от миллионного потока пока мало что остается в Велланде, и поэтому — пусть будет картинная галерея под открытым небом! В мире самая большая и первая. Так и должно быть, поскольку чудо природы находится тут же. И впечатлений в городе было бы не меньше от творений руками человека. Финансовая машина благодаря целесообразности программы будет запущена. Отчисления местных учреждений, вклад городских властей, добровольные пожертвования и реклама, реклама, реклама! Надписи, проспекты на память, рекламные фото, приобретая которые, вы оказываете личную поддержку ходу событий. Статьи в газетах и журналах, рекламы ТВ, со-

общения, что среди художников объявлен конкурс на право получения заказа для разрисовки стен... Ненавязчивые надписи, приглашающие посетить торговые комплексы, дзинь, дзинь, дзинь — сыпятся монеты, шуршат бумажные деньги, гости довольны и хозяева города тоже. Ведь деньги за увиденное, купленное остаются в кассах магазинов и кафе Велланде. Остаются не только деньги, остается также живописный рассказ о жизни Велланде — уж какой он есть маленький городок, берега канала, соединяющие Онтарио с озером Эри. Пароходы и гавани. Первые переселенцы. Железная дорога. Спортивные соревнования. Взгляд вблизи и с высоты птичьего полета.

С каждым годом на пятнадцать картин больше. В прошлом пятнадцать. В этом году пятнадцать, в будущем тоже. Городок, в котором 20 тыс. жителей... И так до 1992 года, до той поры, когда программа будет реализована полностью и городок посетит уже около миллиона туристов... Простой счет. Деньги делают деньги. Искусство зарабатывать деньги, и на рекламу здесь не скупятся. «Приветствуем Велланде! Велланде всегда приветствует вас! Только для вас мы разрисуем наш город!» Я верю и рекламным надписям, и словам директора Рика Вудворта, реализующего программу. Верю, что самая большая картинная галерея под открытым небом будет. В Велланде. В провинции Онтарио. В Канаде.

I часть — МОДЕЛЬ И ДРУГИЕ
РИГА 06.03.88
фото А. Г.

II часть — АВТОР И ДРУГИЕ
WEST BERLIN 23.07.88
фото Manfred M. Sackmann

ИДЕЯ — АНДРИС ГРИНБЕРГС

Там был показ, соучастие, способность к действию, знакомства, приглашения, сожаления, сопереживания, скрывания, готовность делиться, отказ, эгоизм, равнодушие, секс, отдавание, уход, общность, заботы, ухаживание, наполнение, показ, открытие, ожидание, замысел, вера, ложь, неизвестность, да — нет — — —

Из иллюзий Ричарда Баха

есть только одна личность, перед которой мы ответственны и, конечно, это — мы сами. Всякая личность, всякий человек, все происходящее в нашей жизни окружает вас, потому что вы сами их создали. Как вы решите поступить с ними, — это ваше дело

мы решаем сами, обидели нас или нет

истинный грех — ограничивать то, что есть — существование. Не делайте этого я существую для того, чтобы прожить свою жизнь и чувствовать себя счастливым

что гусеница называет концом света, то мастер — бабочкой

конечно, я не настоящий. Мы все на этом свете не настоящие, мы все прикидываемся чем-то таким, чем в действительности не являемся

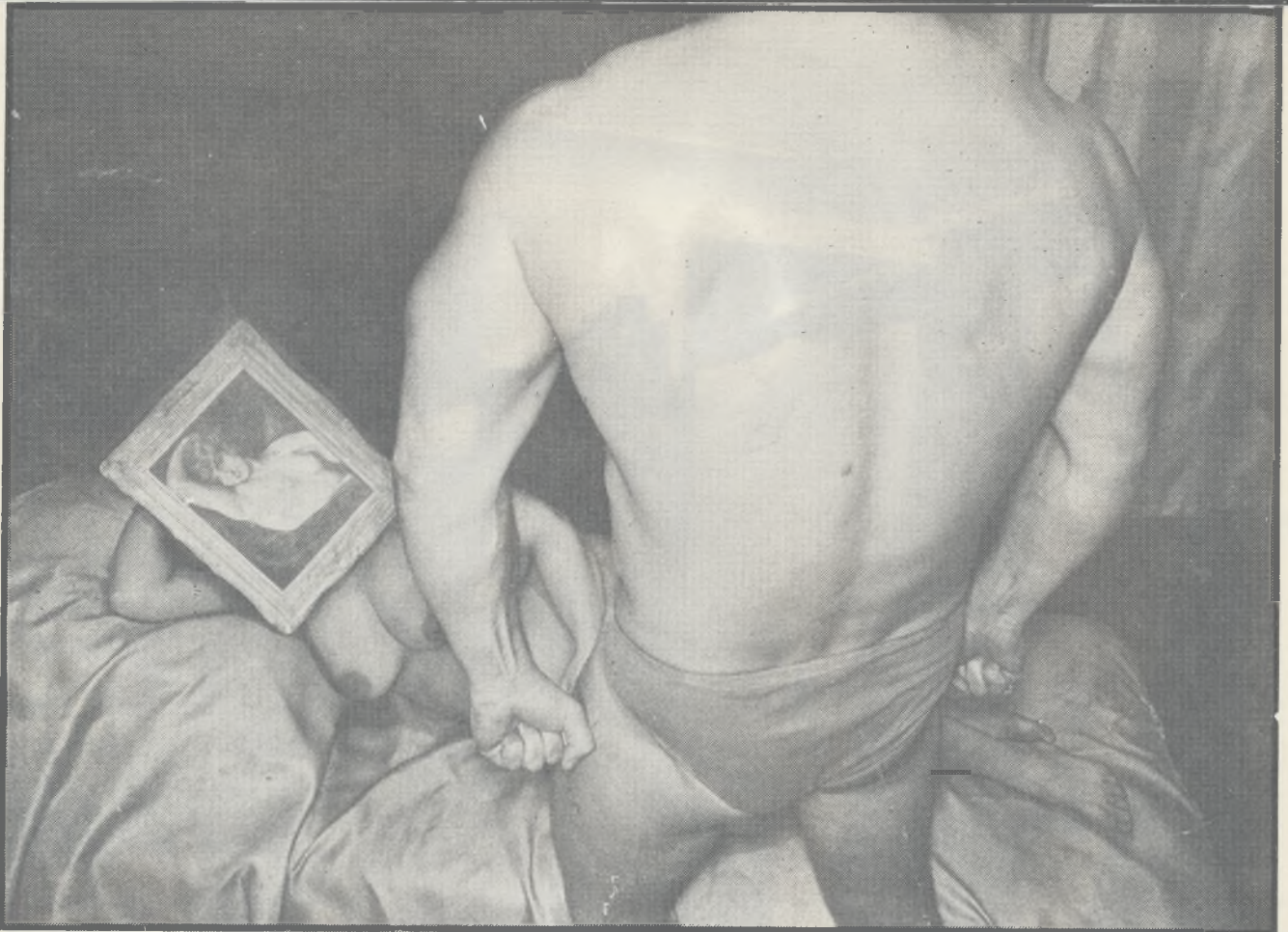
мы не тела, двигающиеся вокруг, мы не атомы и не молекулы, мы идеи неуничтожимой и нетленной сути, независимо от того, как сильно мы верим, что все иначе

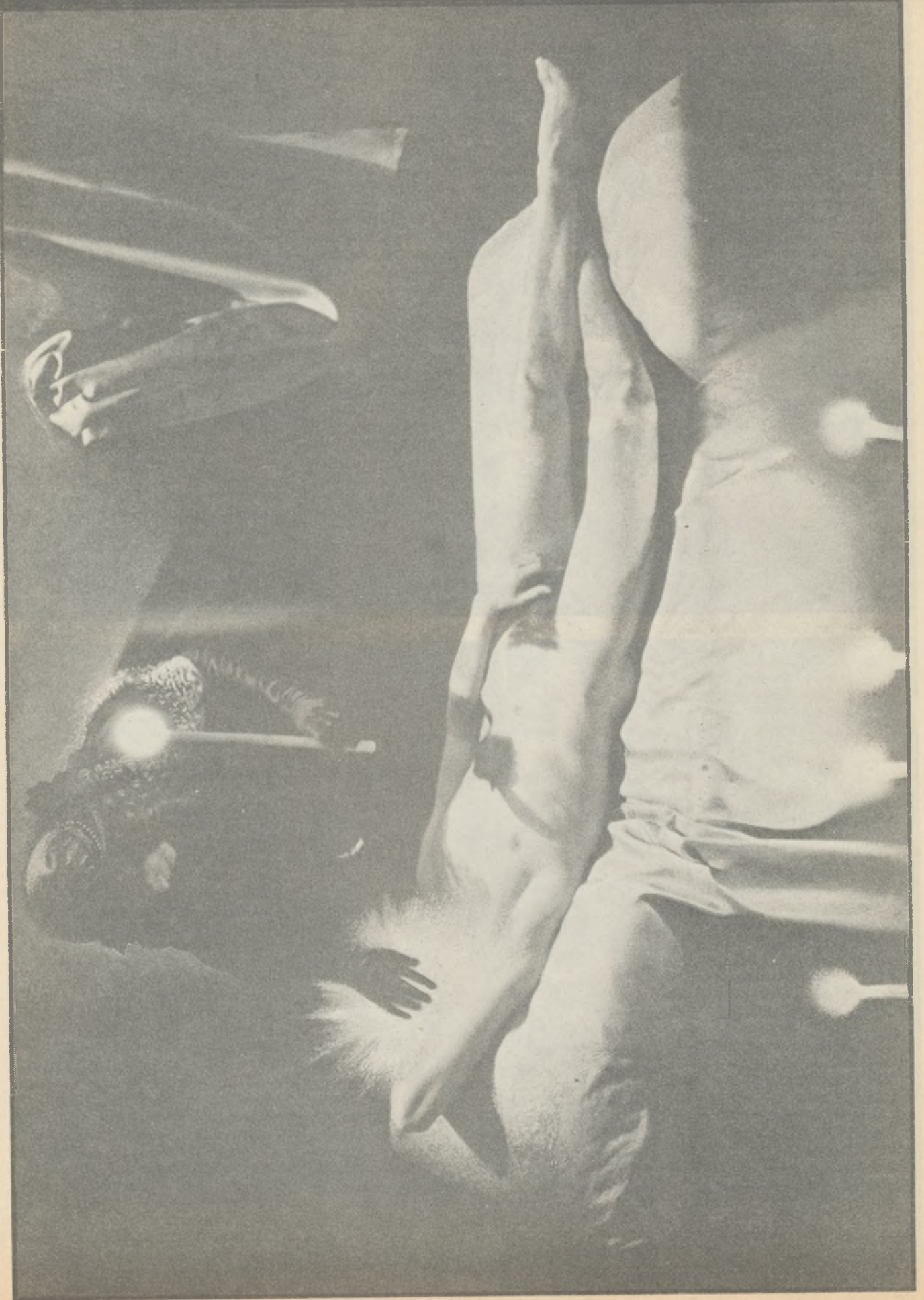
оспаривайте свою ограниченность, и когда вам это удастся, вы удостоверитесь, что она вам присуща

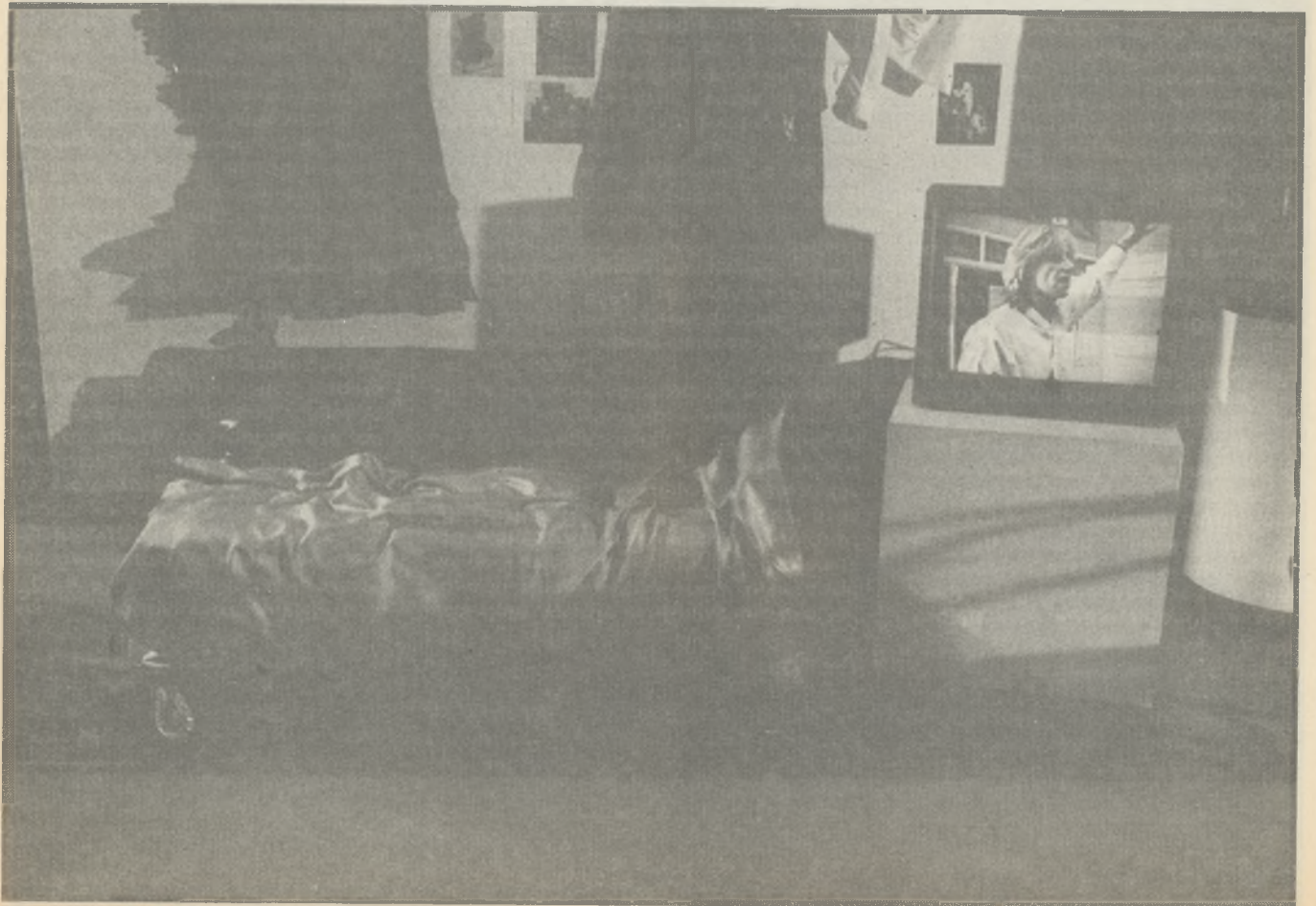
Редакционное пояснение:

БОДИ-АРТ: род искусства, произведения коего образуются непосредственно телесным участием автора в артефакте. Напр., отпечатки тела на холсте, разного рода документальные фиксации тела автора (кино, фотография, но — не живопись), как правило — обнаженного. Начало жанра — 60-е годы. Дополнительная литература: Флэш Арт, № 24 — март 1971 г., либо Флэш Арт (Французский выпуск), № 46—47, июнь 1974 г. — статья о течении Флаккус, существовавшем в первой половине 60-х годов. Уже во второй половине 70-х Б. А. практически потерял актуальность. Реанимация его связана лишь с включением побочных (обычно социальных) тематик — например, акция обнаженного Толстого (Владимир Котляров) в фонтане Треви, в Риме, «I» pudo Baroccco», см. журнал «А-Я», № 5).













ДИМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ

«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЖЕРТВ НЕ СУЩЕСТВЕННА ДЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ...»

(ПРИБАЛТИКА И СССР В 1939—1941 гг.)

Продолжающаяся уже более полугодом советская военная интервенция в Афганистане привлекает внимание печати западного мира и оживила интерес к примерам советской агрессии в прошлом. 40-летие одного из актов этой агрессии исполнилось летом текущего года. Это — советская военная оккупация Прибалтики с последующим включением в состав Советского Союза Эстонии, Латвии и Литвы, независимость которых советская власть признала в трех разновременных мирных договорах 1920 г.

Сообщая о публикациях, посвященных событиям в Прибалтике 40 лет назад, появившихся в западноевропейской печати, издающаяся в Нью-Йорке латышская эмигрантская газета замечает: «Афганистан помогает напомнить о судьбе балтийцев».

Напомним об их судьбе и авторы нескольких статей, появившихся в русской зарубежной печати, но они, говоря о трагической судьбе балтийцев, понимают под ними почти исключительно эстонцев, латышей и литовцев. Недостаточно отмеченным при этом остается то обстоятельство, что население Прибалтики было разноплеменным и издавна включало немецкое, еврейское и русское (самое многочисленное) национальные меньшинства. В ходе событий 1939—1941 гг. судьба этих меньшинств сложилась различно. Но на всех жителей Прибалтики, которые не смогли своевременно покинуть ее пределы, советский террор обрушился с одинаковой жестокостью вне зависимости

от того, к какой национальности они принадлежали. И в этом смысле судьба русского населения Прибалтики (а оно насчитывало почти полмиллиона) оказалась особенно незавидной: в каждом местном русском (особенно интеллигентном и в прошлом не зарекомендовавшем себя прокоммунистическими воззрениями и симпатиями) подозревался замаскированный «белогвардеец» и враг советской власти. Однако прежде чем говорить об участии, постигшей «антисоветские элементы» Прибалтики, следует напомнить последовательность событий, приведших к ее советизации.

СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ

Хотя после Мюнхенского соглашения Гитлер 2 сент. 1939 г. торжественно заявил, что после разрешения вопроса о Судетской области у него нет больше территориальных требований, его дальнейшая политика свидетельствовала об обратном. В марте 1939 г. последовало занятие германскими войсками Праги, и в том же месяце, после ультимативного требования Гитлера, в Берлине было подписано соглашение с Литвой об ее отводе от Мемельской (Клайпедской) области. Эта область (в 1939 г. — 152.000 чел., значительная часть которых были немцы) по Версальскому договору была отделена от Германии, а теперь опять воссоединена с ней.

Дальнейшее осуществление германской восточной политики Гитлера, в первую очередь в отношении Польши, зависело от сговора со Сталиным, и в этом смысле Гитлер был готов идти на большие уступки. Как известно, для соответствующих переговоров Риббентроп был послан в Москву, где и был заключен сенсационный пакт между двумя (недавно еще считавшимися непримиримыми) идеологическими противниками, носивший название «Пакт о ненападении между Германией и СССР» от 23 авг. 1939 г. Этот пакт означал важную и неожиданную переориентацию

внешней политики обеих тоталитарных держав, но его главное значение заключалось в дополнительном секретном протоколе о разграничении взаимных интересов в Восточной и Юго-Восточной Европе, причем Финляндия, Эстония и Латвия признавались входящими в сферу интересов СССР, а Литва — в сферу германскую. После поражения Польши, 28 сентября того же года, в Москве было заключено еще одно секретное соглашение, изменявшее первое в том смысле, что и Литва теперь признавалась находящейся в сфере интересов Сов. Союза.

Содержание дополнительного секретного протокола сохранялось как Москвой, так и Берлином в строгой тайне, и германские дипломатические представители в балтийских странах были о нем осведомлены только в начале октября лично Риббентропом, с указанием, что недопустимо давать какие-либо пояснения на этот счет.

Пагубные для независимости балтийских государств последствия пакта Сталин — Гитлер не замедлили сказаться. В первую очередь советский нажим был произведен на Эстонию, причем предлогом послужил инцидент с польской подлодкой «Орел», которая, спасаясь от германского флота, зашла в Ревельский порт и там была интернирована эстонскими властями. Но затем подлодке удалось ускользнуть из порта и благополучно добраться до берегов Англии. Возлагая ответственность за исчезновение польской подлодки на Эстонию, Молотов объявил эстонскому посланнику, что СССР впредь не признает суверенитета Эстонии в ее береговых водах и принимает на себя их охрану. Прибывшему в Москву эстонскому министру иностранных дел Селтеру было объявлено, что СССР требует заключения пакта о взаимной помощи и о предоставлении права иметь военно-морские базы на территории Эстонии. Соответствующий пакт был подписан 28 сентября, и на его основании Сов. Союз получил военно-морские базы на островах

* Д. А. Левицкий окончил юридический фак. Латвийского университета в Риге (1935 — Mag. iur.) и славянский отдел University of Pennsylvania (1969 — PhD).

Статья написана в 1980 году, и, хотя сейчас многие условия и последствия заключения советско-германского пакта уже не являются для нас тайной, мы решили не сокращать статью, чтобы не нарушить цельность изложения. РЕД.

Эзель (Сарема) и Даго (Хиума) и в Балтийском порту (Палдиски).

После Эстонии пришла очередь Латвии, а потом Литвы согласиться на требования Москвы о заключении пакта о взаимной помощи. В первых числах октября латвийский министр иностранных дел Мунтерс отправился в Москву, где был принят не только Молотовым, но и самим Сталиным. Во время переговоров выяснилось, что Сов. Союз требует права на установление баз военно-морского флота в портах Либавы (Лиепая) и Виндавы (Вентспилс), а также права на сооружение базы береговой артиллерии на побережье между Виндавой и Питрагсом и аэродромом для авиации. Подписанный 5 октября советско-латвийский пакт по тексту почти дословно совпадал с текстом эстонского пакта.

Литовский министр иностранных дел Урбшис, прилетевший в Москву 3 октября, узнал, что от него ожидается подписание пакта о взаимной поддержке, а также — принятие «подарка» в виде недавно занятого советскими войсками города Вильны с прилежавшей областью. Урбшис не сразу согласился на принятие советских требований и решил справиться в Берлине насчет возможности получения отсюда помощи. Когда выяснилось, что на это рассчитывать нельзя и что, наоборот, во время сентябрьских переговоров с СССР Гитлер выразил желание присоединить к Германии Мариампольскую область, литовское правительство убедилось в безвыходности положения. В Москву была послана литовская делегация, которая там 10 окт. подписала требуемый Сталиным пакт о взаимной помощи, также предусматривавший право Сов. Союза на устройство военных баз на территории Литвы.

Сразу же после подписания латвийско-советского пакта распространенная во всей Прибалтике рижская русская газета «Сегодня» напечатала на первой странице своего номера от 6 окт. полный текст соглашения и коммюнике о происходивших в Москве переговорах. А через два дня в той же газете появилась статья (очевидно инспирированная правительством) о значении пакта. В статье, между прочим, говорилось: «Взаимное признание независимости и невмешательства оформилось в обязательство не затрагивать суверенных прав договаривающихся сторон, в частности их государственного устройства, экономической, социальной системы и военных мероприятий». Приводилась и ссылка на комментарий в «Известиях» от 6 окт., в котором было сказано, что «Советский Союз с величайшим уважением и доброжелательством относится к государственной независимости своих соседей».

Этому хотелось верить и правительству и населению Прибалтики. И некоторое успокоение внесло то об-

стоятельство, что прибытие советских войсковых эшелонов и размещение воинских частей в предоставленных базах для наземных, воздушных и военно-морских сил протекало бесперебойно, в полном порядке, мирно и без каких-либо ставших известными населению инцидентов. У оптимистов укрепилась надежда, что действительно достигнут какой-то приемлемый для самостоятельности балтийских стран видоизмененный «модус вивенди» со страшным советским соседом.

По-иному, конечно, расценивали создавшееся положение политически более вдумчивые люди, понимавшие грозную опасность, нависшую в недалеком будущем над Прибалтикой. Показательны в этом смысле, например, воспоминания Феликса Циеленса, видного латышского социал-демократического деятеля, бывшего одно время (еще до установления диктатуры Ульманиса в 1934 г.) латвийским министром иностранных дел. По его сведениям, численность советских войск, введенных на территорию Прибалтики и размещенных в приобретенных базах, была такова: в Эстонии — 20.000, в Латвии — 30.000 и в Литве — 20.000. В то же время численный состав местных вооруженных сил мирного времени равнялся: в Эстонии — 13.500, а в Латвии — 20.000. Принимая во внимание столь неблагоприятное для балтийских государств соотношение сил, автор оценивает значение пактов о взаимной помощи следующим образом: «Эти договоры означали протекторат Советского Союза над балтийскими государствами и фактически такое значительное ограничение их суверенитета, что оно было равносильно потере независимости этих государств».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ НЕМЦЕВ ИЗ ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

Октябрь 1939 г. приносил жителям Прибалтики одну неожиданную и тревожную новость за другой. Вслед за сообщением о заключении пакта о предоставлении Сов. Союзу военных баз стало известно, что Гитлер 6 окт. произнес в рейхстаге речь, в которой объявил о предстоящем переустройстве «этнографических условий в Восточной и Юго-Восточной Европе» и что Германия и СССР «согласились о взаимной поддержке в этом вопросе».

Как оказалось, эта программа в первую очередь затрагивала Прибалтику и касалась переселения немецких меньшинств из Эстонии и Латвии. Жители этих стран узнали об этом из правительственных коммюнике, опубликованных в Ревеле (Таллинне) и Риге 8 и 9 октября. Сообщалось, что германское правительство, приступая к практическому осуществлению прин-

ципа, прокламированного в речи рейхсканцлера Гитлера, выразило желание переселить в Германию граждан немецкой национальности Эстонии и Латвии и что правительства этих государств в принципе согласились о подписании соответствующих договоров. Они спешно были выработаны и подписаны Эстонией 15 и Латвией 30 октября. Договоры предусматривали добровольное изъявление намерения переселиться в Германию со стороны граждан, считавших себя немцами, а также — компенсацию за оставляемое опантами недвижимое имущество и капиталы.

Что касается советского правительства, то оно в секретном протоколе от 30 сент. 1939 г. обязалось не чинить препятствий для переселения граждан немецкой национальности из областей, входящих в сферу его интересов по соглашению 23 августа. А когда, после речи Гитлера о переселении, германский посол в Москве, граф Шуленбург, сообщил Молотову, что германское правительство приступило к осуществлению своего плана, Молотов выразил послу незаинтересованность своего правительства в этом деле.

Прибалтийские немцы с особым вниманием следили за тревожным политическим развитием, которое было вызвано совсем непредвиденным пактом Сталин — Гитлер, опасаясь постепенной советизации Прибалтики, как следствия заключенных затем пактов о советских базах. Однако известие о том, что «фюрер зовет» (лозунг национал-социалистической пропаганды), поразило большинство местных немцев, «как гром среди ясного неба», по словам видного представителя рижского немецчества (Х. Римша).

Прибалтийские немцы ощущали себя коренными жителями «земли» (страны), испокон веков неразрывно связанными с ее судьбами. Их далекие предки — монахи-проповедники и епископы, рыцари-крестоносцы, купцы и ремесленники из ганзейских городов Любек и Бремен — уже в XII и XIII веках прибывали в Прибалтику в качестве колонизаторов. Организовав сперва своеобразное государственное образование (Ливонию), они затем в течение столетий упорно боролись за сохранение своего положения правящего и ведущего слоя во время последующего шведского и польского владычества. Со времени Петра Великого и вплоть до революции 1917 г., будучи в составе Российской империи, они долго сохраняли свою самобытность и особое положение в Прибалтике. В то же время поколения многих прибалтийских семейств верой и правдой служили русским монархам, внося заметный вклад в гражданскую, культурную и военную жизнь империи. Недаром имп. Николай I в разго-

воре с Юрием Самариним, резко осуждавшим немецкие порядки в Прибалтике, сказал ему: «Вы укоряете целые сословия, служившие верно; начиная с Палена, я мог бы считать до 150 генералов» (Б. Э. Нольде).

Теперь им предстояло порвать с историей и традицией и навсегда покинуть родину и насиженные места. Необходимость в спешке и под нажимом принять такое решение, особенно у тех из них, кто не разделял национал-социалистической идеологии, вызвала мучительное душевное смятение. О нем свидетельствует, например, запись в опубликованном дневнике одного из переселенцев: «Случилось нечто совершенно неожиданное: нам надо покинуть родину. Фюрер произнес речь и объявил о переселении... Мы сегодня не в состоянии думать» (Ю. Крегер).

В неведении о том, как в Берлине решают судьбу прибалтийских немцев, пребывали не только рядовые местные немцы, но и ведущие деятели их национальных объединений в Эстонии и Латвии. Осведомлены были о готоящейся акции лишь возглавители немногочисленных групп национал-социалистически настроенных прибалтийских немцев, преимущественно из числа молодого поколения. В Латвии их руководителем был рижанин юрист д-р Эрхард Крёгер, носивший партийное звание «ландесфюрера». Совместно (по форме) с законно избранным председателем объединения граждан немецкой национальности Крёгер (а после его скорого отъезда в Германию — его заместитель), сообразуясь с директивами германского посольства, проводил акцию переселения из Латвии, исходным пунктом которой была Рига. В Эстонии таким пунктом был Ревель (Таллинн), и там акция протекала, в общих чертах, в том же порядке.

Имя руководителя акции по переселению из Латвии д-ра Крёгера особо упоминаю потому, что впоследствии, во время германо-советской войны, ему суждено было еще раз сыграть заметную роль в другой акции, на сей раз непосредственно касавшейся русских. При встрече ген. А. А. Власова с Гиммлером в сентябре 1943 г. Крёгер, тогда в чине оберфюрера СС (полковник/бриг. ген.), присутствовал при их разговоре и служил переводчиком, а вскоре после того был назначен начальником специального штаба связи Гиммлера при ген. Власове.

На переселение решилось, если не поголовно, то в своем значительном большинстве как немецкое меньшинство в Латвии (80%), так и в Эстонии (65%), и в немецкой общественности этих стран не проявилось заметной оппозиции переселению.

При подаче заявления о желании

переселиться не требовалось упоминать о мотивах, побудивших на этот шаг. Поэтому, как отмечается в немецких исследованиях этого вопроса, мотивы переселения оставались внутренним переживанием каждого отдельного переселенца. Все же можно полагать, что наиболее существенным мотивом было желание избежать коммунистического владычества. В наступлении его мало кто сомневался после того, как стало ясно, что балтийские страны не будут оказывать вооруженного сопротивления Сов. Союзу. Как писал один из авторов-переселенцев, не было больше привычной в истории альтернативы «сражаться или погибнуть», а оставалось лишь «переселиться или погибнуть» (А. Ноттбек).

Переселенцев отправляли в Германию морским путем, на пароходах, предоставленных германским правительством. Первый пароход ушел из Ревеля 18 октября, а последний вышел из Риги 15 дек. 1939 г. На 48 судах из обоих портов переселилось из Латвии 52.500 чел., а из Эстонии — 14.400 чел., и это означало, что в обеих странах еще оставалось довольно много немцев. Но официально немецкие меньшинства в Латвии и Эстонии прекратили свое существование, и в Риге «Правительственный Вестник» в конце декабря объявил, что «немецество в Латвии умерло».

Впоследствии, когда уже вся Прибалтика была занята советскими войсками в июне 1940 г., в Берлине был поднят вопрос о судьбе оставшихся в Эстонии и Латвии местных немцев, а также о немцах в Литве. Решено было произвести дополнительное переселение, которое происходило на основании германо-советского соглашения, подписанного в Риге и в Ковно (Каунас) 10 янв. 1941 г. Оно предусматривало создание смешанной германо-советской комиссии, которая решала вопрос о признании принадлежности к немецкой национальности за теми лицами, которые изъявили желание переселиться.

Первые транспорты ушли в конце января. На сей раз они направлялись не морем (из-за неблагоприятных ледовых условий), а по жел. дороге. «Беженцев» (таков был их официальный статус, в отличие от первых «переселенцев») насчитывалось: из Латвии — 10.000 чел. и из Эстонии — 7.000 чел. Таким образом, общее число переселенцев 1-й и 2-й акций из обеих стран составляет 84.000 чел. Насчет количества немцев, уехавших из Литвы, у меня достоверных данных нет. Во всяком случае, можно считать, что из Прибалтики переселилось свыше 100.000 немцев. При этом следует отметить, что в числе уехавших было немало русских, латышей и эстонцев, имевших возможность доказать ту или иную связанность с немецеством и постаравшихся таким образом спастись от большевистской

опасности. Относительно беженцев второй категории есть сведения, что среди них было прилб. от 3.000 до 3.500 лиц, которые по существу не были немцы и были «пропущены» благожелательно настроенными членами немецких комиссий.

ЗАНАВЕС ОПУСТИЛСЯ

Так была озаглавлена большая статья в распространенной латышской газете, которая была напечатана после того, как из Риги ушел последний пароход с немецкими переселенцами. И хотя сама статья была посвящена не особенно лестной оценке исторической и культурной роли немцев в Прибалтике, а не ее политическому положению в настоящем, слова об опустившемся занавесе воспринимались многими местными жителями в смысле некоего зловещего предзнаменования. Как-никак, исход немцев знаменовал собой как бы окончательный разрыв с Западом и одностороннюю, роковую зависимость дальнейших судеб Прибалтики от воли вождей Сов. Союза.

Это особенно чувствовалось в главных городских центрах Прибалтики, в Риге и Ревеле, сохранивших в своей центральной части («старый город») архитектурные признаки средневековых немецких городов. В Риге, самом многочисленном городе Прибалтики, население всегда отличалось многоплеменностью. В 1930 году из общего населения почти в 380.000 было: русских 35.000, евреев — 43.000 и немцев — 45.000, и этот немецкий элемент издавна воспринимался как неотъемлемая особенность рижской жизни и вносил в нее заметную долю того космополитизма, который особо отметил в своих воспоминаниях Джордж Кеннан, начавший свою дипломатическую карьеру в американском посольстве в Риге. Внезапное «выпадение» немецкого элемента бросалось в глаза, повсеместно ощущалось и вызывало навязчивую мысль: какие новые неожиданности и потрясения нас ожидают?

Тем временем тучи на политическом горизонте продолжали сгущаться. В конце ноября Финляндии был предъявлен советский ультиматум, финны приняли мужественное решение сопротивляться, и разгорелась советско-финская война. Это не замедлило сказаться и на положении Эстонии. Ввиду особого стратегического значения ее побережья для безопасности Ленинграда и Красного флота, она должна была согласиться на предоставление дополнительных военных баз, в том числе в Гапсале (Хаапсалу).

Когда 12 марта 1940 г. был заключен советско-финский мирный договор и выяснилось, что Финляндия сохраняет свою независимость, это известие было воспринято в балтийских странах «с большим удовлетво-

рением и облегчением», как пишет историк этих государств Г. Раух. Сейчас же в Риге состоялась конференция министров иностранных дел, на которой было постановлено продолжать политику нейтралитета и выражено пожелание о более тесном хозяйственном и культурном сотрудничестве тройственной балтийской антанты. Как вскоре выяснилось, созыв конференции вызвал в Москве подозрения и был использован как предлог к обвинению балтийских государств в антисоветском военном союзе.

Внутренняя жизнь в балтийских государствах после подписания договоров о советских базах протекала обычным чередом, без заметного советского вмешательства. Это, по-видимому, побуждало правительства то ли действительно всерьез принимать советские заверения о «невмешательстве и взаимном признании» и рассчитывать на то, что установившийся в их странах общественный строй сохранится и впредь на продолжительное время, то ли делать вид, что советским заверениям верят. Во всяком случае, в Латвии, где уже в 1934 г. на смену парламентарно-демократическому строю пришла единоличная диктатура К. Ульманиса, правительство которого открыто проводило политику ущемления прав национальных меньшинств, и дальше неукоснительно продолжалась ликвидация русских организаций культурной самодеятельности. Так, например, закрыты были: Русское Юридическое Общество (в октябре), русская студенческая организация «Фратернитас Россия» (в ноябре) и «Газета для всех» (в марте 1940 г.) И эти шовинистические мероприятия проводились, несмотря на нависшую над страной грозную опасность.

Она превратилась в трагическую реальность на 8-м месяце полусуверенного существования балтийских государств. Начало кризиса обозначилось в конце мая 1940 г., когда советское правительство обвинило литовские власти в том, что они якобы не обеспечивают безопасности советских военных баз, из гарнизонов которых будто бы похищено несколько солдат, и что Литва якобы заключила военный союз с Эстонией и Латвией. Опуская подробности развившейся кризиса (поездки литовских мин. ин. дел Урбшиса и мин.-президента Меркиса в Москву и их попытки умиротворить советское правительство рядом уступок), следует отметить даты его кульминационного пункта: 14—17 июня 1940 г.

14 июня Молотов предъявил Литве ультимативную ноту с требованием наказания министра внутренних дел, образования нового правительства и согласия на ввод частей Красной Армии в важнейшие пункты страны. Ультиматум был принят, и советские войска двинулись в Литву.

Пока они занимали страну, Молотов предъявил ультимативные ноты однозначного содержания посланникам Эстонии и Латвии с требованием ответа в течение 8 часов. И в этих нотах главное обвинение сводилось к тому, что якобы оба правительства нарушили пакт о ненападении 1932 г. и пакт о взаимной помощи 1939 г., включив в эстонско-латвийский военный союз Литву, что будто бы явствует из созыва конференций министров иностранных дел этих государств в декабре 1939 г. и марте 1940 г. Советское правительство требовало немедленного составления новых правительств, которые могли бы обеспечить соблюдение заключенных пактов о взаимной помощи, а также — согласия на ввод советских войск для предотвращения «провокационных актов» против советских баз.

Оба правительства принуждены были принять ультиматум, и 17 июня началось вступление советских войск и занятие ими территории обеих республик.

Для проведения нужных советскому правительству мероприятий из Москвы приехали специальные уполномоченные: В. Деканозов — в Ковно, А. Вышинский — в Ригу и А. Жданов — в Ревель. Они сейчас же приступили к формированию новых правительств, сносая при этом для видимости с главами трех государств. В Эстонии это был президент Пятс, а в Латвии — президент Ульманис. Несколько иное положение создалось в Литве, т. к. президент Сметона с некоторыми другими видными литовскими деятелями 15 июня бежал в Германию. Поэтому, по настоянию Деканозова, министр-президент Меркис принял на себя исполнение обязанностей главы государства.

Во всех трех государствах, номинально с согласия их президентов, составлены были «народные правительства», возглавлявшиеся лицами из числа местной лево-прогрессивной интеллигенции. Из деклараций этих правительств можно было сделать заключение, что и впредь будет обеспечена независимость государств и что не предвидится их советизация.

Однако те некоммунистические местные деятели, которые вошли в новообразованные правительства в надежде, что лояльное сотрудничество с Сов. Союзом наилучшая гарантия сохранения независимости их государств, жестоко ошибались. Так, например, новый литовский министр-президент Креве-Мицкевичус, поехавший в конце июня в Москву и имевший там продолжительную беседу с Молотовым, узнал от него, что в создавшейся международной обстановке нельзя рассчитывать на дальнейшую независимость малых государств и им вскоре придется применяться к советским порядкам.

Выборы новых парламентов в трех

балтийских государствах, назначенные одновременно на 14 и 15 июля, были заранее подготовлены советскими эмиссарами в сотрудничестве с местными компартиями и проведены по советскому образцу. Хотя сперва, как это было в Латвии, было объявлено, что выборы будут проводиться на основе правил, предусмотренных старой конституцией (бывшей в силе до переворота 1934 г.), попытка некоммунистической инициативной группы выставить свой список кандидатов была пресечена незадолго до выборов, так что населению пришлось голосовать лишь за единственный список «блока трудящихся». Его партийно-поислушные кандидаты и были избраны в новые, ставшие теперь «народными», парламенты.

Президенты Ульманис и Пятс должны были отказаться от своих должностей и были сосланы в СССР: первый — 21, а второй 30 июля. Об их дальнейшей участи мало что известно. Есть лишь сведения, что оба кончили свои дни в ссылке. Что касается литовского президента Сметоны, то он, перебравшись из Германии в Швейцарию, оттуда эмигрировал в США, где погиб во время пожара в 1944 г.

В начале августа 1940 г. в Москве собрался Верховный Совет, который выслушал заявления литовской, латвийской и эстонской парламентских делегаций и, в соответствии с высказанными пожеланиями, на своих заседаниях 3, 5 и 6 августа принял балтийские советские республики в состав СССР.

Теперь занавес действительно опустился для всей Прибалтики; и ее новые властители усердно принялись за советизацию со всеми сопровождающими подобный процесс выводами: бесправием, репрессиями против «антисоветских» элементов и материальными лишениями вследствие снижения уровня хозяйственной жизни. Эта первая советская оккупация, прерванная 22 июня 1941 г. начавшимися военными действиями Германии против СССР, продолжалась немногим больше года, который в латышской эмигрантской литературе называется «страшный год».

«СТРАШНЫЙ ГОД» И ЕГО ЖЕРТВЫ

Молниеносное наступление германской армии оказалось в некоторых отношениях спасительным для населения Прибалтики (за исключением ее еврейских жителей, которые подверглись массовому истреблению). Стремительное продвижение германских войск, с одной стороны, прекратило начавшееся массовое выселение местного населения, а с другой предотвратило проведение общегерманского призыва в Красную Армию. Мобилизацию не успели провести ни в Литве, ни в Латвии. Уже 24 июня было

взято Ковно, 25-го Либава и 1 июля — Рига. Продвинувшись затем к границам Эстонии, германская армия встретила здесь более упорное сопротивление и была к середине июля на некоторое время остановлена. Это дало возможность советским властям провести в северной Эстонии мобилизацию. Только 20 авг. был занят Ревель, и к концу этого месяца почти вся территория Эстонии (кроме островов, где советские гарнизоны держались до октября) оказалась в руках германского командования.

Советским учреждениям (в том числе органам НКВД) приходилось проводить эвакуацию в большой спешке, вследствие чего в отдельных местах не были уничтожены некоторые секретные документы. Обнаруженные после отступления советских войск, они дали представление о далеко шедших планах советских властей насчет проведения «чистки» Прибалтики от нежелательных элементов, а в отдельных случаях также — списки расстрелянных лиц, трупы которых затем были найдены в массовых могилах.

Высылка президентов Пятса и Ульманиса была предвестником последовавших вскоре затем арестов и исчезновения одного из найденных документов НКВД, были в прошлом «активные деятели буржуазных органов власти, армии и разведывательных учреждений, а также бывших контрреволюционных политических партий и организаций». Среди сразу же арестованных или исчезнувших было немало русских, как коренных местных жителей, так и эмигрантов: паспорт в этих случаях не имел никакого значения. Упоминание об особом внимании «органов» к русским находим и у нерусского автора книги о том времени, эстонца-юриста, который вспоминает: «Мы видели во время первой советской оккупации, что русские эмигранты были первые, которые подвергались арестам за измену Советскому Союзу» (Г. Тумулус).

Зимой 1940/41 г. местные органы НКВД получили извещение о плане массовых высылки из всех трех стран. Высылка должна была производиться согласно инструкции НКВД за № 0011223. Она называлась инструкцией «О порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии и Эстонии» и была подписана Серовым, тогдашним заместителем народного комиссара гос. безопасности, 11 окт. 1939 г. Эта дата свидетельствует об истинных намерениях советского правительства в отношении балтийских государств уже тогда, когда оно заключало с ними пресловутые «пакты о взаимной помощи», не затрагивавшие якобы суверенных прав договаривающихся сторон. Русский текст инструкции в свое время был пол-

ностью напечатан в «Новом Журнале» (кн. 107, 1972).

Как явствует из инструкции, выселение «антисоветских элементов» рассматривалось как «задача большой политической важности», и ее проведение возлагалось на «уездные оперативные тройки и оперативные штабы», которые были обязаны провести операцию «без шума и паники».

В обнаруженном также секретном приказе по местному НКВД (Литовской ССР) от 25 апр. 1941 г. разъясняется, что взятию на оперативный учет согласно инструкции Серова подлежали и лица «вне зависимости от конкретных данных об их антисоветской деятельности». Найден был и другой приказ НКВД, а также «сводки», составлявшиеся на основании приказов НКВД, и эти документы указывают на выработанный перечень групп лиц, подлежащих взятию на учет. Он распадался на две категории. В первой категории перечисляются 7 групп, из которых две касаются местных русских жителей, а именно: всех членов организации БРП (Братство русской правды), РФС (Русский фашистский союз), РОВС (Русский общевоинский союз), НТСНП (Национально-трудовой союз нового поколения), «Младороссов», всех офицеров Белых армий, а также — руководящих лиц всех национальных контрреволюционных белоэмигрантских организаций и постоянных сотрудников их органов печати.

Вторая категория касается служащих иностранных миссий и фирм, а также лиц, пытавшихся переселиться в Германию, их семей и близких родственников, бежавших за границу («изменников родины»).

Исподволь подготовлявшаяся и сохранявшаяся в глубокой тайне операция по выселению части жителей Прибалтики стала проводиться одновременно в трех ее странах незадолго до начала германо-советской войны. В ночь с 13 на 14 июня 1941 г. грузовики с вооруженными чекистами, милиционерами и партийцами направлялись со сборных пунктов к квартирам, домам и хуторам людей, которые значились в списках оперативной группы. На местах производились обыски и аресты, выселяемых уведомляли об их участии и давали минимальный срок на сборы. Затем выселяемых на грузовиках свозили на ж. д. станции и грузили в товарные вагоны, разлучая при этом главу семьи с ее членами.

Повсеместно закончить операцию в одну ночь не удалось, и поэтому обыски и аресты в некоторых местах продолжались в течение последующих дней и ночей. Дальнейшее выселение «антисоветского элемента» из Прибалтики было предотвращено разразившейся 22 июня 1941 г. германо-советской войной. Во время последовавшей затем германской ок-

купации Литвы, Латвии и Эстонии в этих странах возникли организации местного самоуправления, которые имели возможность заняться подсчетом жертв советского террора. Материалом для этого послужили обнаруженные секретные документы: «сводки о количестве арестованных и выселяемых», списки содержащихся в тюрьмах и расстрелянных и другие данные.

В Латвии, например, была произведена акция по опросу жителей о репрессированных и пропавших без вести родственниках и знакомых, которая была закончена к 1 янв. 1943 г. Поименный список жертв, составленный на основании опроса и его обработки Латвийским статистическим бюро, был отправлен в Международный Красный Крест в Швейцарии. Там он сохранился, и в 1951 г. его в Стокгольме опубликовал Латвийский Национальный фонд, предпослав сборнику английское вступление. Внутренний сборник под названием «Эти имена обвиняют» («These Names Accuse») содержит фамилии и имена прилб. 30.000 жителей Латвии с указанием места их жительства до выселения. При этом отмечается, было ли данное лицо 1) сослано во время массового выселения 13/14 июня 1941 г., 2) арестовано и вывезено из тюрьмы или 3) пропало без вести в последние дни советской оккупации.

Кроме того, после второй мировой войны появился ряд публикаций авторов из кругов эстонской, латышской и литовской эмиграции, занимавшихся изучением вопроса о количестве жертв первой советской оккупации Прибалтики. Общие итоги некоторых авторов при этом иногда расходятся, но эти расхождения сравнительно незначительны и мало меняют общую картину. Она нашла отражение в опубликованных докладах Комиссии Конгресса США по коммунистической агрессии (так наз. Комиссия Керстена), слушания которой проходили в 1954/55 г.

Согласно этим докладом общее число репрессированных (т. е. сосланных, заключенных и расстрелянных, а также пропавших без вести) равняется в округленных цифрах: в Эстонии — 60.000, в Латвии — 34.000 и в Литве — 34.600. Для сопоставления этих данных с общей численностью жителей этих трех стран напомним, что их население в конце 1930-х гг. (округляя до полных тысяч) было: в Эстонии — 1.100.000, а в Латвии — 1.950.000 и в Литве — 2.550.000 (вкл. Мемельскую обл.).

Когда в американской печати появились сведения о том, что специальная комиссия Конгресса США займется вопросом о советской оккупации Прибалтики и что она будет заслушивать показания эмигрантов из ее стран, инициативная группа русских, бывших жителей Прибалтики,

со своей стороны составила меморандум (от 10 апр. 1954 г.). В нем указывалось на многочисленные факты репрессий против русских жителей Прибалтики, пострадавших от коммунистических преследований наравне с остальными жителями балтийских государств, а иногда и больше их в процентном отношении.

О меморандуме сообщалось в русской зарубежной печати, как, например, в парижской «Русской Мысли» (от 2.6.1954) и в сан-францисском «Нашем Времени» (от 28/29.05.1954), но нет сведений о том, был ли меморандум принят во внимание Комиссией Керстена. Во всяком случае, в ее официальных отчетах никакого упоминания о нем нет.

Об этом приходится пожалеть особенно теперь, когда на Западе усиливается, вместо антикоммунистической, пропаганда антирусская. Поэтому уместно напомнить о первом годе коммунистического властвования в Прибалтике. Для русских, переживших это время, нет сомнений в том, что ее русское население подверглось репрессиям наравне с жителями других национальностей и что оно пострадало в процентном отношении не меньше, если не больше, чем эстонцы, латыши и литовцы. И это особенно показательно, если иметь в виду, что основная масса русского населения Прибалтики были крестьяне и притом — малоземельные, незажиточные и, следовательно, с точки зрения коммунистов, были элементом отнюдь не «кулацким», а наоборот — «бедняцким».

В подтверждение сказанного легче всего привести некоторые данные о Латвии. С одной стороны, она была наиболее многонациональным из трех балтийских государств, и ее русское меньшинство (12% нас.) было самое многочисленное в Прибалтике (233.000 чел.). С другой стороны, наличие поименного списка репрессированных, содержащегося в сборнике «Эти имена обвиняют», дает возможность сделать заключения о национальной принадлежности жертв

коммунистического террора в Латвии.

При этом, конечно, следует иметь в виду, что данные о национальности жертв не могут быть абсолютно точны, поскольку действительно достоверным критерием для определения национальной принадлежности в Прибалтике с ее смешанным населением служит не столько фамилия, сколько самоопределение человека. Поэтому при подсчете числа русских жертв неизбежны некоторые расхождения. Но и с этой оговоркой имеющиеся данные достаточно убедительно свидетельствуют о внеэтнической направленности коммунистических репрессий, жертвами которых стали тысячи прибалтийцев.

К сожалению, в распоряжении русской инициативной группы, которая в свое время составила меморандум для Комиссии Керстена, упомянутого сборника с именами репрессированных не было. Его тщательная статистическая разработка еще остается делом будущего. Но на основании моего предварительного подсчета можно сделать заключение, что число русских в списке во всяком случае превышает 12%, т. е. процент русских граждан Латвии. Такое заключение находит подтверждение в выводах латышского исследователя К. Зивертса, работа которого «Население Латвии под советской оккупацией» была опубликована и на английском языке в 1955 г. Автор, исчисляя общее число репрессированных в 34.000, говорит: «Из этого числа 78% были латышского происхождения». Следовательно, ясно, что 22% нелатышских жертв советского террора составляют главным образом русские и евреи, т. е. подавляющее большинство местных немцев уже переселилось в Германию, а другие национальные группы населения были численно незначительны.

Что касается еврейского населения Прибалтики (где среди национальных меньшинств оно по численности процентно занимало первое место в Литве, второе в Латвии и весьма незначительное в Эстонии), то оно по-

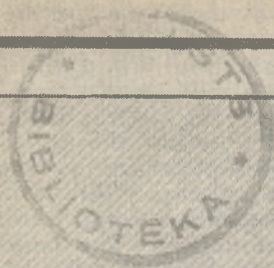
страдало от коммунистических репрессий, как и другие национальные группы края. Этот факт, однако, замалчивался германскими оккупационными властями, и когда под их наблюдением в Латвии составлялся список репрессированных, то евреи в него не включались. Поэтому точный подсчет еврейских жертв коммунистического террора и для Латвии затруднен, и их число в соответствующих исследованиях указывается по необходимости лишь приблизительно и колеблется от 1.000 (К. Зивертс) до 5.000 (М. Кауфман).

Латышские публикации по вопросу о советском терроре в Латвии нередко отличаются антирусской настроенностью, выражающейся в намеренной подмене термина «советский» словом «русский» и умолчании об активной поддержке, которую местные латышские коммунисты оказывали органам советской оккупационной власти. Но среди этих публикаций встречаются объективные указания на сущность коммунистического террора, как направленного на подозреваемые в «антисоветизме» группы населения вне зависимости от их национальной принадлежности. Это отмечается в исследовании К. Зивертса, а в изданной в Стокгольме эмигрантской «Латышской Энциклопедии», в статье о высылках из Латвии, говорится, что они «коснулись всех профессиональных и социальных групп вне различия национальности, пола и возраста».

Такое суждение совпадает с выводами авторов русского меморандума, которые в его заключительной части подчеркивали, «что для коммунистической власти отнюдь не существенна национальность ее жертв, что расправы она производит во всех кругах и слоях поработанного населения, чтобы всем без исключения внушить страх перед правителями и подавить мысль о сопротивлении».

Еще раз напомнить об этом своевременно, ибо, как недавно сказал Солженицын, «коммунизм: у всех на виду — и не понят».





«...Вы видите, что этот барьер теперь снесен. Мы убрали все развалины, оставшиеся от этой стены разницы, чтобы путь между Ригой и Москвой был прямым и гладким...»

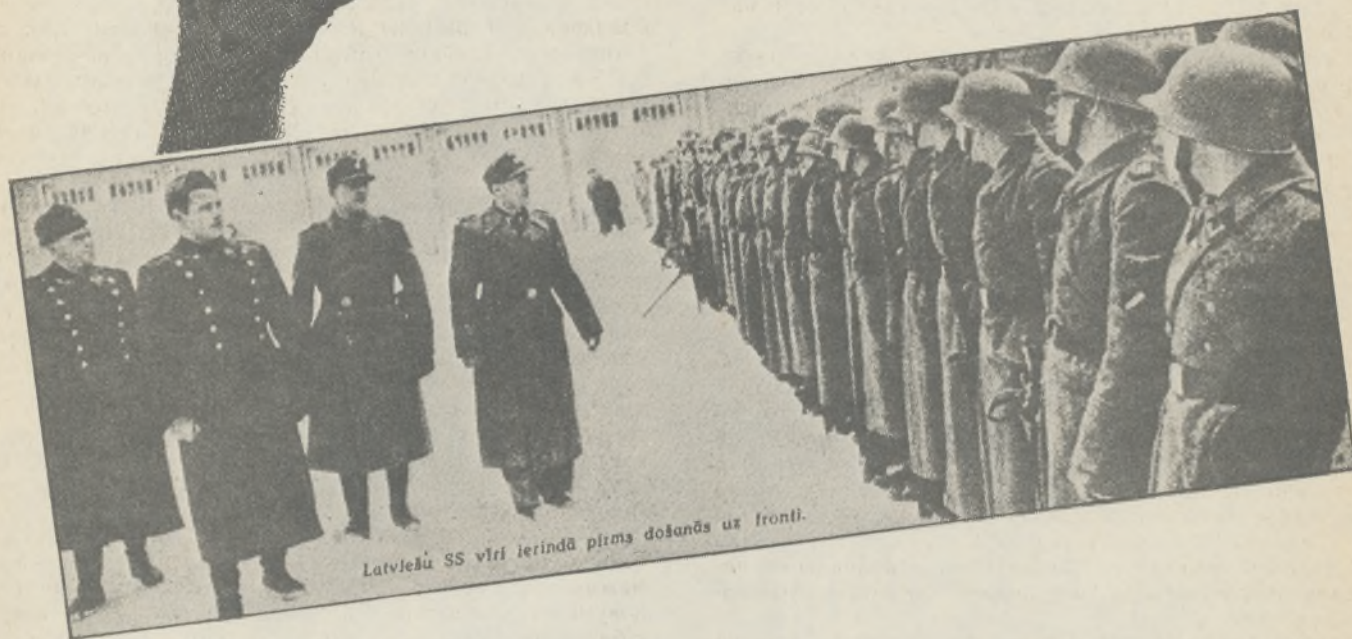
Из речи и. о. Президента государства министра, президента А. Кирхенштейна.

август 1940 г.



МОГУЧИМ УТЕСОМ СТОИТ НАША СТРАНА, ОКРУЖЕННАЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ ОКЕАНОМ...

РАССКАЗ ГРЕНАДЁРА



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Беседа с легионером Петерисом Л. интересна по целому ряду причин. Это воспоминания о трагической странице истории латышского народа, причем рассказ очевидца, человека, воевавшего в легионе с первого до последнего дня и прошедшего путь от рядового «оружейного гренадера» до офицера (в самом конце войны). Автор повествует обо всем с необычайной откровенностью, хотя в старческой ностальгии и переоценивает боевую мощь легионеров, пересказывает различные слухи и, конечно же, пристрастен в своих оценках.

Тема эта до сих пор почти не освещалась в нашей литературе, если не считать работ академика Вилиса Самсона, а также мемуаров Освальда Эглитиса «Тени на болоте», выпущенных в 1989 году издательством «Авотс».

Этим проблемам посвящен, однако, обширный труд, выпущенный в 70-х годах за рубежом центральным правлением организации «Даугавас ванаги». Это четырехтомник «Латышский воин в период второй мировой войны». Предлагаемая читателю историческая справка о легионе составлена по его материалам.

С 4 ноября 1942 г. по январь 1943 г. назначенные немцами на оккупированной территории Латвии генеральные директора самоуправления обсуждают вопрос о создании латышского легиона на основе призыва «добровольцев» 1921—1924 гг. рождения. Из протокола заседания, состоявшегося 4 ноября: «Генеральный директор Данкерс сообщает, что вчера, 3 ноября, он вместе с полковником-лейтенантом Вейсом, полковником Крипенсом, полковником Силгайлисом и полковником-лейтенантом Осисом были приглашены к руководителю СС и немецкой полиции в Латвии генерал-майору Шрёдеру, который предложил гендиректорам обратиться с ходатайством к выс-

шему руководителю СС и немецкой полиции в Остланде генералу Еккельну разрешить формирование латышского легиона».

В конце января 1943 г. Шрёдер сообщил о том, что Гитлер, получив соответствующую просьбу, разрешил приступить к созданию латышского легиона. 5 февраля началась регистрация офицеров и инструкторов. 8 февраля гендиректора принимают решение о призыве лиц 1921—1924 гг. рождения. Представляет интерес высказывание гендиректора Приманиса на состоявшемся в тот день совещании: «Лучше мобилизация, чем нынешний отлов». Гендиректора «решают» также, что соответствующая регистрация и призыв рекрутов должны быть проведены при посредничестве аппарата немецкой полиции ввиду отсутствия собственного аппарата. 23 февраля Данкерс объявляет призыв лиц 1919—1924 гг. рождения. Призывникам дается «право вступления в легион». Добровольность в том, что «никакое принуждение в пользу других родов оружия или секторов несения службы не допускается». Уже 29 марта тысячу новобранцев без всякого предварительного обучения посылают на ленинградский фронт, во 2-ю бригаду СС. Штаб генерального инспектора латышского легиона Бангерского сообщал, что в легион зачислено 22,5 тыс., в другие части немецкой армии — 12,7 тыс. человек, а 6 тыс. уклонились от явки на призывные пункты. 24 ноября 1943 г. объявляется призыв лиц 1915—1924 гг. рождения. 7 декабря Бангерский прибывает в Саласпилс с целью проверки «порядка отбытия наказания» 101 легионером. 4 и 5 февраля 1944 г. издается распоряжение о призыве лиц 1906—1914 гг. рождения. В конце 1943 — начале 1944 г. из 42 634 призывников в легион зачислено 42 092 человека.

Латышским легионерам было запрещено «ношение знаков СС на воротничке», вместо этого были введены рунические знаки, различные для 15-й и 19-й дивизий. В немецких частях СС солдаты именовались «эсэсовцами», в латышских их официально называли «легионерами», а в конце войны — «оружейными гренадерами».

В январе 1943 г. на ленинградском фронте из трех батальонов была создана 2-я латышская бригада СС, переименованная 18 апреля в 1-й полк.

1 июля было завершено формирование 2-го полка.

В мае 1943 г. оба полка, объединенных в бригаду, перевели на Волховский фронт. Бригадой командовал немецкий генерал Шульдт.

В марте 1943 г. началось формирование 15-й латышской дивизии (с начала 1944 г. — 15-я дивизия оружейных гренадеров СС), части которой в ноябре 1943 г. вели бои в районе Острова.

В начале 1944 г. высшее руководство СС отдало приказ о переформировании 2-й латышской бригады в 19-ю дивизию, для ее укомплектования был объявлен дополнительный призыв. Новобранцы-легионеры этого времени весьма отрицательно относились к службе у немцев. 1-й учебный полк, предназначенный для формируемой 19-й дивизии, 1 марта 1944 г. отбыл из Риги на фронт, на участок р. Великой. «В полку числилось 3000 человек, в большинстве своем новобранцы. Во время отправки на фронт, на территории Латвии, сбежало с транспорта более трехсот человек из состава полка». В марте формирование дивизии было закончено, и она получила официальное наименование: 19-я дивизия оружейных гренадеров СС (2-я латышская). В первой половине 1944 г. дивизией командовал оберфюрер Шульдт, затем штандартенфюрер Бок и бригаденфюрер Штрекенбах. Офицеры латышской национальности командовали подразделениями начиная с полка и ниже. Младшие по чину немецкие офицеры часто командовали старшими по званию латышскими офицерами. Так, в июле 1944 г. командир 2-го гренадерского полка 19-й дивизии полковник Пленснер за неподчинение немецкому оберлейтенанту был предан немецкому военно-полевому суду.

Во время отступления осенью 1944 г. ряды легиона сильно поредели. Для его пополнения был объявлен призыв лиц 1925—1926 гг. рождения, а юношей 1927 и частично 1928 г. рождения призывали в так называемые воздушные подсобники. Постепенно с целью доукомплектования легиона в него был зачислен и личный состав разных пограничных и полицейских отрядов. 6 июля 1944 г. генеральный инспектор легиона Бангерский в письме на имя рейхсфюрера СС Гимmlера жаловался на то, что «призыв всецело проводит Ersatzinspektion Ostland», его же ни о чем не информируют. С целью пополнения легиона в июне 1944 г. из легионеров, отбывавших наказание в Рижской Центральной тюрьме и в Саласпилсе, был сформирован 1-й отдельный батальон для особых поручений, а фактически штрафбат. В сентябре второй такой батальон был укомплектован легионерами, заключенными в Центральную и Срочную тюрьму, а в конце августа из числа заключенных Саласпилского лагеря был сформирован 6-й латышский стройбат. Заключенные, которых потом направляли в штрафной батальон, обычно были осуждены эсэсовским и полицейским судом «за самовольное отсутствие (дезертирство)». Всего в штрафбаты было зачислено таким путем около 3000 арестантов, не считая тех, кто был отправлен в эти батальоны в конце 1944 и в 1945 г.

1 июля 1944 г. 15-я дивизия насчитывала 11 537 легионеров, а 19-я — 9792. Наряду с различными тыловыми частями легиону подчинили также 42 386 шуцманов и бойцов разного рода специальных полицейских отрядов, а также 12 118 человек из полков пограничной охраны, 12 159 человек служили во вспомогательных частях немецкой армии. К этому сроку погибли 2723, умерли 44, были ранены 7305, попали в плен или дезертировали (не считая не явившихся на призывные пункты) 2427 человек. На 18 августа того же года воинскую или трудовую по-

винность в германской армии отбывали уже 156 тыс. бывших латышских граждан, что вместе с потерями, исчисляемыми свыше 13 тыс. человек, составляет примерно 179 тысяч.

С перенесением военных действий в результате отступления немецкой армии на территорию Латвии начался процесс стремительного распада легиона. В ходе отступления воинские части хаотично перемешивались, и солдаты, пользуясь неразберихой, стали дезертировать в массовом порядке. 15-я дивизия «более не могла продолжать борьбу в качестве дивизии. Ее надо было заново пополнить людьми и полностью перевооружить». В августе дивизию разоружили, вывели в Германию и разместили в Восточной Пруссии (ныне территория Польши). Здесь весь офицерский состав временно был заменен немецкими офицерами. Была разоружена, включена в состав 15-й дивизии и отправлена в Германию и часть 19-й дивизии. Как свидетельствует старший лейтенант Алфредс-Янис Берзиньш, в 15-й дивизии «призыв добровольно записываться на перевод в 19-ю дивизию находил слабый отклик. Приказом была сформирована только одна рота из награжденных железным крестом, под началом лейтенанта Мамиса».

После отступления немцев в Курземе (Курляндию) «в 10-й дивизии проявился моральный кризис, выразившийся во многих случаях дезертирства. Участились случаи перехода бойцов на сторону врага. Внешне дисциплина была образовой. Однако бойцы потихоньку исчезали, по двое или группками. Из боевых подразделений дивизии подобным образом исчезло около 500 человек, из накопителя пополнения, находившегося в районе Дундаги, число ушедших оценивалось примерно в 2000». Часть убывших присоединилась к курельцам, о которых подробно рассказывается в мемуарах О. Эглитиса. «Отношение к немцам в ту пору было далеко не благоприятным, скорее считалось делом чести ненавидеть немцев, особенно там, где не было настоящего контроля за людьми, покидавшими свои части. Так возникло множество трений и даже стычек между немцами и латышами». Как показывают немецкие документы, после боя между немецкими подразделениями и батальоном курельцев под началом лейтенанта Рубениса среди павших «нашлось немало награжденных железным крестом». На 20 января 1945 г. в 19-й дивизии насчитывалось 10 350 человек. 1 мая 1945 г., после пополнения ее рядом мелких подразделений, численность дивизии определялась приблизительно в 16 тыс. человек. В 1945 г. из 15-й дивизии было возвращено в Курземе для доукомплектования 19-й дивизии около 4 тыс. легионеров (гренадеров). С 22 января по 2 мая 15-я дивизия, вооруженная лишь частично, участвовала в боях и несла тяжелые потери. «Весь штаб дивизии был целиком под властью немцев, и прикомандированные к нему латышские офицеры в большинстве случаев играли роль переводчиков, выполняя малоответственные обязанности по штабной работе». К концу 1944 г. в составе дивизии насчитывалось 19 тыс. человек. После боев в Пруссии и Померании в ней осталось 8 тыс. штыков. В последний месяц войны германское командование собиралось расформировать дивизию, распределив ее состав по немецким подразделениям. Поражение в войне сорвало этот замысел. Остатки дивизии сдались англо-американским войскам.

Этот обширный документальный и мемуарный материал, касающийся легиона и легионеров, не подтверждает воспоминаний Петериса Л. о высокой боеспособности легионеров, которые якобы никогда не дезертировали, но подтверждает сведения о противоречиях и столкновениях с немцами, нехватка латышских офицеров в конце войны вынудила приступить к их подготовке из числа инструкторов легиона.

Будем надеяться, что широкие публикации по этой проблеме, в том числе перепечатка вышедших за рубежом работ или их фрагментов, помогут лучше узнать и осмыслить эту трагическую страницу в истории латышского народа.

ОЯРС НИЕДРЕ,
доктор исторических наук.

ИЗ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК
ЛАТВИЙСКОЙ ССР В. Т. ЛАЦИСУ,
ОТПРАВЛЕННОГО В НАЧАЛЕ
1946 ГОДА (БЕЗ ПОДПИСИ)

«Обращаюсь к вам с просьбой, когда же будут возвращены наши латышские пленные, которые при заключении мира были взяты под Лиепай и отправлены в Россию. Был тогда увезен в Россию мой сын. Уже прошло 6 месяцев. Никаких сведений нету, жив он или мертв. И многие матери тоже плачут по своим сыновьям, потому что нету никаких сведений. Самое меньшее, разрешили бы им писать близким. Товарищи, и у вас есть мать и, может быть, дети, значит ваше сердце чувствует, как любят своих детей мать и отец. Мой сын сам, своими силами перебивался в учениках. Работал и ходил в вечерний техникум. На фабрике получал жалованье 10 сантимов в час. По ночам занимался. Так он перебивался пять лет, пока не кончил техникум как электротехник. Тут его положение улучшилось. Прошло несколько лет. В 1944 году его мобилизовали немцы. Каково ему было расставаться с женой и тремя малыми детками? Что ему было делать, не пойти, все равно верная смерть. Вы-то знаете, как немцы с такими расправлялись. Теперь его жена одна должна содержать трех маленьких детей. Она от переутомления заработала чахотку. У меня как у матери сильно за нее душа болит. Обращаюсь к вам и партии с нижайшей просьбой, отпустите сыновей по домам, у кого на совести нет грехов. Я знаю, что у моего сына их нету. Кто виноват, пускай получит наказание, но многие не виноватые. (. . .)»

ЦГАОР ЛССР, ф. 270, оп. 2, д. 6299, л. 22.

ПИСЬМО Х. СКУИНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СНК ЛАТВИЙСКОЙ ССР
В. Т. ЛАЦИСУ.
АЙЗПУТЕ, 10 ДЕКАБРЯ 1945 г.

Товарищ Вилис Лацис!

Месяц проходит за месяцем, и скоро уже февраль, большие выборы. Вы разъезжаете из одного города в другой, агитируя и прославляя нынешний строй, хотя для слушателей каждое сказанное Вами слово смертельный яд. В Лиепайе юноши Лиепай (сколько уж их там было) встречали Вас пламенным приветствием, но знаете ли Вы, что каждый из них при этом чувствовал.

Уж Ваша речь такая прекрасная, такая многообещающая, но сами Вы за эти шесть мирных месяцев хоть что-нибудь сделали для Латвии и народа?

То главное, о чем кричит весь латышский народ, об этом Вы как будто ничего и не ведаете.

Разве наши дети (легионеры) виноваты в том, что немец силой их мобилизовал и послал на войну. Теперь война закончилась, так почему сыны Латвии должны томиться в лагерях пленных — как преступники . . . Почему? — — —

Латыш, Вилис Лацис! Ради слез латышских матерей примите близко к сердцу это дело, опротестуйте его и помогите родителям вернуть своих детей, которые совершенно невиновны. Найдите виновных и судите, но простой солдат не виноват, если его мобилизуют на войну. Мы ждали Красную Армию как освободителей, а теперь видим, что она ничуть не лучше режима гитлеризма.

Почти в каждой семье есть один «не-

счастный», которого оплакивают и за кого молятся близкие . . . Может, мой сын вернется, — вот единственное утешение для латышской матери . . . Но надежды так мало, так мало . . .

Мы, латыши, будем ждать теперь помощи от Вас. Освободите до выборов наших детей (легионеров), тогда мы пошлем Вам пламенный привет от всей души и Вы сможете считать, что заслужили его.

Отдайте наших детей, и мы все с радостью пойдем на выборы! — — —

Исцелите боль всего латышского народа, —

освободите легионеров! . . .

ЦГАОР ЛССР, ф. 270, оп. 2, д. 6299, с. 18.

ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК
ЛАТВИЙСКОЙ ССР В. Т. ЛАЦИСА
Х. СКУИНЕ. 10 ЯНВАРЯ 1946 ГОДА.

В связи с Вашим письмом от 10 декабря 1945 года сообщаю, что у Вас нет никакой причины для волнений, так как подразумеваемые Вами «арестованные» ни под каким арестом не находятся. Они только выполняют свой долг перед Родиной, так же, как это делали в рядах Красной Армии все честные советские люди во время Великой Отечественной войны.

К тому же ставится вопрос об их возвращении назад в Латвийскую республику.

ЦГАОР ЛССР, ф. 270, оп. 2, д. 6299, с. 17.

РАССКАЗ ГРЕНАДЁРА



— В легионе я прослужил с первого до последнего дня. И знаю, что это такое, так как призвали меня в 18 лет, в 1942 году. Мобилизацию проводила местная латышская администрация, фактически местное самоуправление. Я сказал бы, большинство этому не сопротивлялось. Но были и такие, кто не хотел идти служить.

Приказ мне прислали на дом. Не пойдя я, никто бы меня искать не стал. Но тогда существовала биржа труда, работать был обязан каждый. Точнее, биржа направляла тебя на работу — тунеядствовать не позволялось: или в легион, или на работу, куда-нибудь прикрепляли. Словом, в повестке, которую я получил, содер-

жался приказ о призыве и предупреждение о том, что за неявку я буду привлечен к суду по законам военного времени. Выходит — принудилровка. Но мне неизвестны случаи, чтобы за уклонение от призыва кого-нибудь судили или расстреляли . . . С приходом немцев латышские партизаны, скрывавшиеся в лесах, вышли из укрытий, а немцы их разоружили, те очень возмущались. Они же горели желанием воевать с русскими и уже сражались с ними в лесной глуши, но нет, немцы им не доверяли. В качестве организованных подразделений эти партизанские отряды все-таки остались, однако оружие им выдали позднее.

Сама мысль о проведении мобилизации тоже принадлежала местной ад-

министрации, конкретно бывшим офицерам Латвийской Армии. Зачем понадобился легион? Ситуация могла сложиться по-всякому. Необходим был зародыш новой латвийской армии. Таков был замысел. Случись что, и он стал бы ядром вооруженных сил — хорошо обученная, мощная воинская часть, которая могла оказать сопротивление обеим сторонам. Настроения в легионе были как антирусские, так и антинемецкие. Вы, наверно, слышали нашу песенку «Побьем сначала вшивых, потом серо-голубых». Бывали и стычки с немцами, но об этом молчали. Я тоже как-то раз попал в передрядку, хотели предать военному суду, но командир обокла это дело замыял. Бойцы были обоклены и против

одних, и против других. Я лично не встречал в легионе никого, кто бы восторгался немцами.

Сначала были организованы батальоны. Создавались они разными путями. Немцы называли их шуцманскими (шуцманы — стражи порядка. — ПРИМ. РЕД.). Были и другие названия, в зависимости от того, кому эти батальоны подчинялись. Если, например, полиции — значит, полицейские батальоны. Фактически, это было воинское подразделение, которое немецкому командованию подчинялось неохотно, по принуждению, несмотря на оказываемое давление. Среди немцев, видимо, не было согласия, куда причислить латышей, — то ли к вермахту, то есть регулярной армии, то ли к полиции или СС. Вначале одно такое подразделение подчинили 8-й танковой дивизии. Выдали вермахтовскую форму. При переходе в другое подчинение начальство менялось, и мундиры тоже. Но бойцы решительно этому противились. Потом был создан т. н. полк Вейса.* Из 16-го, 17-го и 18-го батальонов. Он был включен в части СС. Бойцы полка всячески пытались скинуть эсэсовские знаки различия, спарывали их эмблемы, пришивали свои, латышские.

В части не было ни одного немца. Мы делали, что хотели. Другое положение было у тех, кто служил в русской армии, — там в частях насчитывалось до 90% русских. А здесь одни латыши. Немцев мы не видали. На официальные мероприятия приходилось, конечно, самоделки снимать и прикреплять положенные эмблемы. Позже, в 43-м, официальный легион создавался из тех, кто были первыми. Тут уж объявили призыв по всем правилам. В общем, первыми в батальоне были те, кто спасся от советских репрессий, — инструкторы, офицеры Латвийской Армии. Ситуация в 41-м году была вот такая: многие инструкторы-сверхсрочники, солдаты и офицеры упомянутой армии с началом событий ушли в леса. Все они были при оружии. Разразилась война, и пошла всюю партизанская борьба в тылу. Регулярным частям Красной Армии приходилось воевать на два фронта: с немцами и партизанами. Скажем, при отступлении из Цесиса русские напорлись на встречный огонь, главная улица простреливалась из пулеметов даже со шпиля церкви св. Иоанна. Еще про Цесис: то ли айзсарги, то ли перконкрустовцы (местные латышские военизированные организации. — ПРИМ. РЕД.) сразу же стали выводить из города евреев. В Цесисе, на улице Лигатнес, жило около 100 евреев. Я видел, как их колонной вели по этой улице, конвоиры были в зеленых мундирах.

Немцы еще не пришли, русские тол-

ком еще и не ушли, проходили через город, а евреев уже увели. Никто не знал, почему. Люди говорили, что потом на главной улице вывесили надписи «Judenfrei», чтоб немцы, как войдут, сразу увидели. Я считаю, это позор.

Легионеров упрекают в том, что они принимали участие в расстрелах мирных жителей. Это неправда. Легион был чисто армейской воинской частью. В основном мы воевали на фронте. Я был в 16-м Земгальском батальоне. Правда, что там происходило в это время в Латвии, я не знаю, но молва дошла бы, если что. Ведь не все время на фронте торчишь, и в отпусках бываешь. В сентябре 42-го мы прибыли в район Даугавпилса, на учебные занятия, до марта, когда был сформирован первый полк. Отныне мы считались легионом.

Фронт стоял у Холма. Мы числились в 8-й танковой дивизии. Потом были под Ленинградом, у Пулковских высот. Меня отправили в тыл — желтуха. Затем легион перебросили в Волхов. Там меня не было. Довольно долго. Сначала отпуск, после отпуска определили в инструкторскую роту. Затем курсы, юнкерское училище. Так по тылу и слонялся.

С официальным созданием легиона нас зачислили в 19-ю дивизию. Скажу несколько слов о ситуации на фронте. На территории Латвии — это уже было после боев в России — легион противостоял Красной Армии, от озера Лубанас до Курземе (Курляндии). Русская разведка не дремала, и когда они узнавали, что против них стоит легион, меняли место наступления. Но и у немцев разведка работала. Узнав про готовящееся наступление русских, они ночью делали рокировку. И красноармейцы напарывались на легионеров. А там, где стоял легион, русская армия продвигалась вперед с большими потерями. Если немцы отходили, приходилось отступать и нам, иначе мы как бы повисали в воздухе, ведь они отходили и справа, и слева.

Так было всякий раз. Вечно они ставили нас в экстремальные обстоятельства. Только русские наступают, немцы сразу в тылу рокируются. Старались использовать нас как пушечное мясо. Но русские делали то же самое. Легионеры же в душе страстно надеялись на то, что главные противники обскромят друг друга, и откроется шанс на восстановление Латвийского государства. Вот такая была идея. Другой и быть не могло. Были это реальные чаяния или пустые надежды? Мы шли в бой под девизом: «Латвия, земля священная, сражаться за тебя — наш долг». А врагами были и немцы, и красные. Вся надежда была на профессионального воина. Профессional стоит многих призывников. Например, во второй мировой войне один обученный латышский солдат мог выстоять против 20 русских, или 10 немцев, или 5 финнов. Тыл у нас прак-

тически всегда был оголен. Мы располагались в окопах на расстоянии 30—40—50 метров друг от друга. И в тылу никого. Если прорыв, некому остановить врага. Его войска могут пойти до штаба батальона и дальше, пока не наткнутся на отдаленные тыловые резервы. Иногда так и случилось, например, у Берзупе, где выбили с позиций соседнюю седьмую роту. Впоследствии выяснилось, что это сделали... латыши. То есть русские посылали латышей против латышей. В ноябре 44-го. Сами русские ни за что бы эту роту не выбили. Ну, в общем, так случилось, прорыв, отход — и мы остались в промежутке. Русские стали уютить нас с фланга из противотанковых орудий, танки пошли. И мы отступили, но, перестроившись, бросились в контратаку. Те, что на стороне русских, поняли, видно, что дело плохо, и заорали: «Латыши, не стреляйте, мы латыши!» Мы шли вперед не стреляя. Они отошли просто так, без боя.

Когда мы сталкивались лоб в лоб, то обычно кончалось тем, что бой прекращался. Ну, отступят они, и всё, без единого выстрела. Только крикнул нашим, чтобы не открывали огонь. Русские когда сообразили, принимали меры, чтобы латыши не противостояли друг другу. Мы-то сами предпринять ничего не могли, откуда нам знать, кто на нас идет. А сравнение насчет боеспособности латышского воина, оно имело какое-то научное обоснование для высшего начальства и вытекало из навыков ведения боя. Латыш — он такой: если засел в окопе, не отступит, а сидит до последнего. Редко когда отступает, только если скомандуют. А команды нет, не уходит, замаскируется и сидит, пропускает над собой русских. По сути, дивизия организовалась с мыслью о Латвийской Армии. 19-я дивизия должна была стать ядром Латвийской Армии. В Курземе уже составлялось т. н. правительство Латвии — из армейских чинов, политиков, сколько уж их там было, бог с ними. Немцы герои, если не встречают сопротивления, иначе они драпают. И еще — немец в лесу, допустим, воевать боится, его на открытую местность тянет. Где угодно, только не в лесу. А нам все равно — в лесу или на открытой местности. Сражались потому, что была надежда. И ненависть. Русские сами ее и вызвали. Именно из-за них был создан легион, против них и воевавший. Мне, скажем, в 41-м удалось избежать высылки. Но в легионе я встречал людей, которые были свидетелями инцидента, допустим, на латвийской границе в 40-м году. Они были злы как черти! У меня в роте был один из тех. Я у него спрашиваю: «Томинь, ты что такой злой?» А он: «Моего отца убили, так что мне с ними тут...» Жив этот парень или нет, не знаю. В последний раз виделся с ним в ноябре 44-го, а потом я из роты попал в больницу. Фамилия

* Полковник-лейтенант В. Вейс прежде был военным атташе в Эстонии.

его была Томинь, имени не помню.

На учебке я закончил медкурсы, и мне предложили пойти работать в рижский военный госпиталь или же в воинскую часть. Пошел в госпиталь, но, когда увидел все эти ужасы — обмороженных и раненных в зимней кампании 1941—42 годов, — решил, уж лучше в части. Был выбор, в какую идти. Некоторые выбирали не вслепую. А я попал в 16-й батальон и очутился под Холмом, на передовой. В роте, куда меня направили, один, верно, и был старший солдат, остальные — капралы, сержанты, старшие лейтенанты, офицеры, кадеты из Латвийского военного училища. Старший солдат — то же, что в русской армии ефрейтор.

На Курляндский котел русские наступали трижды. Все три раза я участвовал в боях. Каждый бой длился 20—22 дня. Сколько русских пушек нас обстреливало, не знаю. Сами они говорят, что в Курляндском котле было сосредоточено 12 тысяч орудий. Все три боя фактически вынесла на своих плечах 19-я дивизия. Перед тем воевали под Джуксте и Берзупе. Тогда, в 45-м, кажется, в начале года, точно не помню, меня назначили квартирмейстером, я должен был встретить 15-ю дивизию, не всю, конечно, а некоторую часть, примерно с полк. Кажется, в Мазирбе...

Обычно, узнав, что против нас стоят латыши, мы окопный огонь не открывали. Я даже позволял себе не выполнять целый ряд приказов по нашему полку, если была такая возможность. Полагал, что латышей не так уж и много на свете, чтобы слать их очертя голову в бой, это у русских народу без счета, они пускай и воюют числом. Хотя нас предупреждали — приказы надо выполнять. Так я и выполнял, формально. Но встречались и среди латышских командиров фанатики. Сами ни о чем не думают, только козыряют. Например, я часто получал приказы выслать дозорный патруль и привести «языка». Однажды мы троих взяли в плен. Одного я отправил в батальон, а двух других оставил про запас, до следующего раза. Кормил их, охранял, придет час — в батальоны отправлял как «свеженьких». К чему столько наступлений? Они же требуют жертв! Обычно мы промеж себя всё решали на принципе добровольности. Получаем приказ — мужики сами определяют, кому идти. По трое, по четверо, целым взводом — сколько требуется.

В 45-м почувствовали, что дело близится к концу, настроение переменялось. Некоторые стали подумывать о том, как бы выбраться на Запад. Я какое-то время проваландался в Вентспилсе, это еще до капитуляции было. Родители одного моего товарища эвакуировались туда из Риги. Не знаю, удалось им бежать в Швецию или нет. В Вентспилсе существовала т. н. Народная помощь. У кого были

деньги, мог сговориться с рыбаками, чтобы переправили через море на шведский берег. И переправляли, но не бесплатно. Возле Микельевского маяка я своими глазами видел, какая там береговая охрана! В темноте выйдут в море, и ищи-свищи. Охранник и не заметит ничего. В двух-трех километрах, может, и стояла какая охрана.

В Вентспилсе я недолго пробыл. Принял т. н. дивизионную боевую школу. Началась заварушка под Пилсблдене, понадобились офицеры, и меня направили туда. А когда там всё кончилось, вернулся в школу, но остался без должности. Тут не было уже ни одного начальника, шли последние деньки. В школе насчитывалось примерно с батальон бойцов, три полные роты. Вроде как учебка, но занятий не проводилось. И о капитуляции нам не сообщили. Я наутро узнал, когда всё начальство уже сбежало. Одни солдаты остались. И я. Официального приказа нет. Бойцы в неведении, они то спали. Что делать? Прослышав, что по соседству есть какие-то офицеры, пошел туда. Оказалось, двое полковник-лейтенантов, но вроде из 15-й дивизии. Они радио слушали. От них и узнал, официально меня никто ни о чем не известил. Ну вернулся в роту, построил бойцов, разъяснил ситуацию. Каждый сам решал. Кто домой, кто как. Ребята разбилась на группки и разошлись. Нас собралось человек тридцать, решили идти в сторону Риги. Грузовик раздобыли, откуда шофер — бог весть. В общем, 30 чужих друг другу людей, вооруженных до зубов, погрузили в кузов провиант, сели и поехали. При случае могли и в бой вступить.

Прибыли в Кабиле. У въезда, смотрим, стоит русский солдат. Останавливает нас. Мы из машины не вылезаем. Говорит, сдайте оружие и ежайте себе дальше. Сам безоружный, регулировщик вроде. Въехали в Кабиле, ничего не сдали, конечно. Оружие спрятали в машине так, что сразу не найдешь. Тут один русский капитан привязался. Велел всем слезть. Заглянул в кузов. Вроде пусто. Дуйте, говорит, дальше в тыл. А нам только того и надо. Но тут неувязочка вышла: то ли шоферу в тыл не хотелось, то ли он провокатор был, а может, и не очень-то понимал в шоферском деле, но только машина у него не заводилась. Ковырялся, ковырялся, а никак. Капитан и говорит — машину оставьте, пешком дойдете. Значит, только то оружие у нас и осталось, что при себе. Большинство отправилось напрямик по шоссе, мы с Микельсоном — в сторону хуторов. Но к какому хутору ни подойдешь, всюду часовые — сюда нельзя, туда не ходи. Добрались до Сабиле. У самого города повстречался один русский на подводе. Уговорили подвезти. На мосту через Абаву целый вооруженный отряд русских — посты стоят. Оставливают всех пеших. А мы-то на

подводе. Но все равно погорели.

То, что с нами произошло, было для нас неожиданностью, и представить себе такое не могли. Я думаю так: почему меня надо было хватать, так со мной обращаться? Я ведь был солдат, преступлений не совершал, никого не убил, не обокрал. Разве мне следовало бояться чего-то, раз я был обыкновенным бойцом на фронте? Ну, посадят в лагерь для военнопленных, поддержат и выпустят, как во всем мире принято. На Запад мы, конечно, и не думали пробиваться. И мысли такой не было. Зачем это на Запад?

В лагере для пленных тысячи людей охранял один русский часовой. И ничего не происходило. При переходе с места на место колонна растягивалась на километры, а под охраной был от силы один километр. Нас было тысяч пять, а конвоиров двое — эстонские парни. Просто вели нас, куда положено, и всё. Бежать никто не пытался.

Большинство наших даже рады были, что войне конец, потому что война — это война, без жертв не обходится. Хоть ты и герой, а умирать не хочется.

В начале войны, когда организовывался и укомплектовывался наш батальон, нам повсюду оказывали самую сердечную поддержку. Куда ни пойдешь, радушно встретят, благожелательность чувствовалась во всем. Ведь каждый знал, зачем он в батальон вступает. Потому-то русские разведчики, заброшенные в Латвию, ничего поделывать не могли. Появись они в любом крестьянском доме, их бы тут же схватили. Единственно вот в Латгалии — деревня, где всех перестреляли, — Аудрини. Об этом я уже после войны узнал. Там, говорят, русские разведчики стояли...

О концлагерях. Я и ведать не ведал, что такие существуют. У меня только младшего брата летом 43-го арестовали. Он на арсенале работал. Какой-то рижской организации понадобилась взрывчатка, и он, по дурости мальчишеской, вынес взрывчатку с арсенала. Его поймали и дали три месяца. Доказательств не было. Кажется, приговорили к двум месяцам тюрьмы... В точности не знаю. Кто-то, видно, что-то затевал, раз взрывчатка понадобилась.

Я обычно стараюсь об этих вещах не думать. Все эти годы ни о чем таком не думал. Но события, которые сейчас происходят, заставляют беречь душу. Например, взятие Риги в 44-м. Какие уж там могли быть бои! Мы отступали из Нитауре, по лесам, а главным образом, кажется, по Лубанскому шоссе. Точно не помню. Дошли до Югльской бумажной фабрики. За нею, на берегу озера, бараки стояли, в них полк и разместились. Предполагалось оборонять Ригу. Наш комполк так и сказал. Оборонительных позиций я не видел, где были вырыты траншеи, не знал. Приказов, сообщений, какие позиции за-

нимать, не поступало. Может, и компания ничего не знал. Теперь-то я эти позиции исходил вдоль и поперек — к востоку от Югльской фабрики. Траншеи в лесу есть, а боев не было — иначе остались бы следы. В первых числах октября, 6-го или 7-го, командир сказал нам, что начальство легиона договорилось с немцами Ригу не оборонять, объявить открытым городом. Бои под Елгавой уже показали, что это такое, когда обороняют каждый дом, каждый лестничный пролет. Елгаву тоже легион защищал. Что от нее осталось... И если бы 19-я дивизия пошла защищать Ригу, то... От Риги камня на камне не осталось бы. В конце концов легион заслужил, чтобы родной город сохранить.

В марте 1948 года меня с большой группой людей пересылали из Соликамлага в Усольлаг. Сначала везли нас на грузовиках, потом высадили и велели идти пешком через тайгу. Троп никаких, сугробы по колено — глубокий снег, тайга, сами протапывали дорогу. Зэкам, пожалуй, полегче было, кроме тех, что впереди шли. Конвоирам тяжело. Они же с краю, а тропы никакой нет. Мы были тепло одеты. На мне японский армейский полушубок — новый, и ватные штаны, тоже японские, новенькие, валенки и шапка. Словом, с ног до головы в трофейном, японском. Не знаю, сколько прошли километров, но в сумерки прибыли в лагерь Вильву. Вильва — это на берегу реки Вильвы, а река Вильва как раз в том районе Пермской области, где сейчас всякие аномалии. Вильва впадает в Вишеру, а та в Каму. Где-то между Соликамском и Красновишерском. Лагеря там один за другим. Переночевали, и снова в путь. Миновали еще один лагерь, потом один женский. И пошли в Талицу. В Талице было много мертвых. Правда, ни одного латыша не встретил. Одни русские и эстонцы. Там было жутковато. Охранники обращались жестоко, убивали или забивали насмерть. Я ходил на работы в тайгу от силы два дня — в бухгалтерию назначили. Не помню, сколько там проработал — месяца три или четыре. Меня послали туда в ожидании свободной вакансии в больничке, т. н. стационаре, где требовался фельдшер. Как только освободилось место, меня отправили туда на работу, потому что никто в этом стационаре медицинского образования не имел, и смертность была довольно высокой. Да что толку в твоём образовании, если помочь людям нечем, лекарств нет. Кое-что подкидывали иногда, правда, но бывало, что мы стирали кирпичи в порошок и давали пить больным, чтобы поддержать их психологически, крутились как могли. Впоследствии, когда наладили более тесный контакт с охраной, ходили в лес собирать валериановый корень, дубовую кору. Многие страдали поносом и дизентерией. Но какая жестокость! Подстрелят чело-

века — они даже разрывными пулями стреляли, — снесут ему нижнюю челюсть, а сколько он без нижней челюсти прожить может — вопрос времени. И чем помочь? Врачей не было, фельдшера — и всё. Если у кого из охранников жена рожала, иди принимай роды. А со стороны охранников невероятно жестоко обращение! Помню такой случай. Привезли одного в стационар, вроде желтуха, пожелтел человек. Расспрашиваем — не признается. Желтуха у тебя? Желтуха. Бойтесь сказать, как на самом-то деле. Уже на смертном одре рассказал, что измолотили ему живот. Словом, валят человека на спину, кладут на живот ватный бушлат и бьют по нему что есть мочи. Желчный пузырь лопается, и конец. Хирурга нет, а фельдшер такую операцию не сделает.

В охране служили «синие фуражки», из органов внутренних дел, настоящие живодеры. Но были и охранники из числа зэков — т. н. самоохранные. Обычно с 58-й статьей, а владовцы — из РОА — все сплошь в охране состояли. По своему опыту скажу, все они были порядочными людьми. На посту выполняет, конечно, свои обязанности, но в свободное время... Однажды мне надо было пойти в другой лагерь. Конвоира приставили. Ничего дурного он мне не сделал, жаловаться не могу, и команд «шаг вперед, шаг назад...» я от него тоже не слышал. Он раздобыл где-то бутылку самогонки, и мы топали как попутьчики. В одной деревне зашли в дом, распили бутылочку. По-людски... Мне и потом попадались из этих, неплохие ребята. А вот призванные в армию солдаты — те были звери. Искали, где бы руками волю дать. Например, умирает кто-нибудь в лагере. Врач, медработники в первое время вскрытий не делали. Просто умер человек — пишем: умер. Подмахнет еще начальник санчасти, из вольнонаемных, и вывозят покойника в гробу. Так они гроб откроют — и штыком в мертвого: проверочка, а то вдруг живой? (Анекдот: «Я еще жив». — «Ничего, езжай. Доктор лучше знает».)

В политическом плане злонамеренного отношения к латышам не было, за исключением уголовников. Узнав, кто мы, они обкладывали нас десятиэтажным матом — ты, так тебя-разэтак, л-латыш! И непременно обирали до нитки. Пришли мы в Талицу — по снегу ведь брели, через тайгу, без задних ног. Повалился на нары и мгновенно уснул. Там не раздевались, матрацев не было — голые нары. Пока спал, воры меня обчистили. Новые валенки содрали. Утром на работу надо в тайгу — валенок нет, в чем идти? Как быть? Да я уже ученый был, из Соликамлага, не проведешь. Крика поднимать не стал, что обокрали, мол. Подозвал одного из воришек — урок — и спрашиваю: «Кто у вас за главного?» Пашка Рябов,

отвечает. Пошел я к нему и говорю: «Ты же видишь, Пашка, в чем я остался». Поговорили, значит. Дал он мне старые валенки, но добротные... Смертность в лагере была большая. Потом меньше стала. Поначалу вскрытий не делали. Впоследствии каждого умершего положено было вскрывать. Обычно врач приезжает на это дело, начальник санчасти. Как правило, секцию проводили трое — ну, и фельдшер тоже. Так вот и оформляли... В 3—4 км от лагеря в Вильве были женские бараки, а не доходя до них полкилометра — погост, эски рассказывали, что там около 10 000 человек зарыто, в основном с 1941 года. Говорили, что это были главным образом высланные латыши, и среди них будто бы адъютант Карлиса Улманиса — Лукинс*.

Сам я был свидетелем такого случая. Лагпункты Вильва, Талица и Перша, в границах которых мы работали, находились на правом берегу реки Перши. За рекой было еще два лагпункта, названий не припомню. Самый отдаленный — в 15 км от берега, их соединял проселок. Я работал тогда в амбулатории и очутился в этом дальнем пункте на вскрытии. Дело было не то в мае, не то в июне 1949 года. Вдруг в вешевой барак заходят несколько человек. Один безногий инвалид, другой на костылях, у третьего руки-ноги на месте. С ними охранник. Я знаю, что у нас в лагере таких нету. Первый из вошедших, тот, что без физических недостатков, говорит, что они пришли по этапу и им нужна медицинская помощь. И при этом подмигивает мне — конвоир стоит тут же — мол, поговорить надо, подмигивает, чтобы я отошел с ним в сторонку. А мы в приемной, значит. Я говорю — заходить по одному, остальные пускай обождут. Когда мы остались с ним вдвоем, он отпорол подкладку и достал фотографию — на ней он был снят в форме капитана Советской Армии, с золотой звездой. Он сказал, что на этапе их 2000 человек, стоят здесь же, на дворе. Что их ждет, он не знает: зачем привели и что с ними будут делать? Тут конвоир распахнул двери, чтобы мы не разговаривали. Больше ничего такого сказать он не успел. Стал предьявлять жалобы на здоровье, то да сё. Просто вымолили у охраны, чтобы пустили в амбулаторию, хотели подать о себе весточку. Капитан вышел, а те двое и заходят не стали. Я дал им что-то для отвода глаз. Их увели, больше мне поговорить с ними не удалось. Вышел поглядеть на этап. Всю эту массу людей расположили на лужайке возле ограды. Все на костылях, приметил одного подводу, погрузили этих несчастных и увезли. Сюда их доставили — две

* Здесь расхождение с другими источниками. В книге «Страшный год» сказано, что полковник Миервалдис Лукинс погиб в Риге летом 1941 г.

тысячи человек — на грузовиках. Они ничего никому сказать больше не успели. Заночевали на дворе, под открытым небом. Наша кухня готовила им пишу. Было заказано 2000 порций. Повар — Климов его фамилия — снял пробу и удостоверил число порций. На второй день их всех увезли на подводах. Не всех сразу, а по очереди, видно, недалеко ехать было. Вокруг непроходимая тайга; кое-где вырубки, там пустырь. Их всех завели в тайгу. На следующий день повар опять получил задание приготовить еды на две тысячи человек. Развозили в армейских котлах. Климов в качестве повара ехал сопровождающим. Но, когда приехали на место, повара близко не подпустили. Он рассказывал потом, что весь этап просто загнали в тайгу, не убежать. Тут здоровому человеку через эту чащобу не продрасться, а протех, кто без ноги, без руки, и говорить нечего, они вообще самоходом передвигаться не могут. В общем, готовили у нас еду дней пять-шесть. Потом им привезли полевые кухни, повар говорил. Навесы были сделаны, а они сами сооружали лежаки, шалаши из еловых ветвей. И связь с ними оборвалась. Потом, осенью 49-го, помнится, привезли оттуда к нам в лагерь шестерых. Среди них и капитана с золотой звездой, остальные на костылях были. В лагерь-то их доставили, но к ним не подпускали, разместили в каком-то закутке, под охраной, там же и кормили. В тот же день за ними приехал грузовик, и увезли. Подойти к ним я не смог, но тот капитан показал мне жестом — каюк, скрестил так руки. В тайге — что они могли. Естественно, всех подчистую... Однажды, это уже позднее было, зашелся к нам начальник санчасти, и начальство, значит, между собой толкует — видно, не думали, что я рядом и все слышу, — один говорит: «Ну, лучше так, чем их обхаживать». Люди будто бы отчаялись и молили: «Расстреляйте нас, вы нас так мучаете». Начальник Усольяга сказал в ответ: «Сами подохнете, зачем вас стрелять». Все это были красноармейцы, инвалиды войны. Статьи четвертая, шестая, сорок седьмая такого-то закона. Словом, украл на поле кукурузный початок — на тебе 15—20 лет.

Я освободился за несколько месяцев до амнистии (амнистия по 58-й в 1955 году вышла), а до этого еще успел «пожить» в Печлаге и пару лет протрубить на Воркуте, откуда меня выпустили с примерной аттестацией. Еще три года предстояло провести без гражданских прав. В Риге не прописывали. Прописался у родственников в Сигуде. Как только опубликовали положение об амнистии, я пошел в МВД, надеясь получить рижскую прописку. В коридоре толпились люди. Захожу в кабинет. Слова еще не сказал, а этот, который прием вел, сразу и говорит: расстрелять вас надо — и левой рукой делает вот так. И весь

тебе сказ. Я ему о прописке талдычу. Он — расстрелять вас надо. Ему, видно, так велено было. Счастлив был, что отвязался от него... Обидно — я ведь никакого преступления не совершал.

В том же лагункте, где произошла история с инвалидами, начальником был старшина Маркьян. Когда прибывал новый этап, он откалывал такой номер. Построит всех за воротами, конвоир объяснит: шаг вправо, шаг влево, шаг вперед считается побегом, и тут, значит, старшина высмотрит в строю того, кто не по стойке застыл или с соседом перешептывается, и, ткнув в него пальцем, командует: «Пять шагов вперед!» Человек не догадывается, что его ждет. Сделает пять шагов, бах! — и наповал. Акт составят: расстрелян при побеге. Потом я узнал, что Маркьян за каждого расстрелянного получал награду — 16 кг муки. Вообще там множество народу было убито, каждые три-четыре дня, каждую неделю кого-нибудь расстреливали — по дороге на работу или еще где.

Случались и побег. Две недели пройдет — поймать не могут. Тогда убьют кого-нибудь другого, привезут в лагерь — глядите, вот он, беглец. Но люди ведь знают, он или не он. Это для запугивания делалось.

... О том, как у нас в 1940 году советская власть устанавливалась, насколько демократически, как теперь говорят. Отей мой столяр, работали мы неподалеку от Валмиеры. Каждый был занят своим делом. Как-то приходит человек из города и сообщает новость — русские идут. Никто этому не верит. Отец мне говорит — сходи, посмотри. Я пошел. Русские войска переходят мост через Гаую и направляются по улице Ригас, в гору — в сторону Риги. С двух сторон любопытные. Воины Латвийской Армии, полицейские стоят шпалерами вдоль тротуаров. «Ура» никто не кричит. Зеваки. Смотрят — и всё. Тут одна толстуха в летах завопит какие-то лозунги, не помню уж какие. Кругом спрашивают — что это за старуха? «Так ведь это чокнутая Мария!» Постоял я, поглядел — и домой. Отцу рассказал, да некогда ему было особенно слушать, работа есть работа. И так до вечера — тогда ведь не то, что сейчас, конец рабочего дня — и наших нету, тогда кто хотел заработать, оставался подольше. Было часов шесть. На улице показались двое в красных нарукавных повязках с белыми буквами «PD».* Рабочие спрашивают, что это — PD. Оказалось, эти PD обходят все дома, созывая людей на базарную площадь. Явка обязательна, в каждом доме может остаться по одному человеку, желательно из немощных, старых или больных. Отец и не думал спешить, а еще несколько человек, работавших над гипсовыми

фигурами, фигурами потолочными, те вообще не собирались идти. Но тут во второй раз PD являются — всем, всем, безоговорочно. Отец сказал — ладно. Отправились мы на базарную площадь. Чуть ли не последними пришли. На площади трибуну возвели, народу масса, словом, вся Валмиера. Мы с краю встали, площадь была окружена красноармейцами, в 15—20 шагах от толпы. Со штыками наперевес, прямо в людей нацелены. Что там с трибуны вещали, расслышать было трудно, громкоговорителей не имелось. Духовой оркестр грянул «Интернационал». Все вздымали кулаки. Если кто вскидывает сжатый кулак — пусть его, нам-то какое дело. Подсочил русский солдат и отца штыком по заднице — а ну вскидывай кулак. Тут, конечно, все, кто еще не успел это сделать, спохватились. Слышу — за спиной переговариваются. Шепотом. Кто, мол, такие там, на трибуне. Не из наших, не из валмиерских эти были. Валмиера тогда была небольшим городом, все друг друга знали в лицо. Чужого за версту видно. Ты человека не знаешь, другой его знает. Такое тогда в Валмиере было положение. Когда митинг закончился, толпе не дали разойтись, а организовали шествие к месту захоронения комсомольцев. Под конвоем с двух сторон все туда и двинулись. Там опять был митинг. И только тогда разрешили разойтись по домам.*

Правильно ли поступил Улманис, приняв ультиматум?

В народе говорили, что неправильно, надо было сопротивляться. Уверенность в этом окрепла, когда пошла повальные аресты. Говорили: в случае сопротивления было бы меньше жертв, чем сейчас. Поэтому надо было сражаться. Пусть и проиграли бы. Сегодня это более чем ясно. Мы потеряли бы людей не больше, чем в результате высылки. Когда немцы пришли, они сообщили, что только в Литене расстреляно около 220 человек. Немцы охотно демонстрировали черные дела коммунистов. И, насколько я знаю, родственники выкапывали своих, увозили хоронить. А еще Балтээерс, а чекистские подвалы... В медучилище, где я учился в 41—42 годах, нас возили на экскурсию в чека. В подвалы не пустили, но рассказывали, что там творилось. Вход был с угла. Помню, вошли мы, проследовали через ряд помещений и очутились в гараже — есть там такой почти квадратный гараж, слегка вытянутый в длину. Выезд с гаража прямо во двор — четырехугольный двор. И в точности напротив гаража железные ворота, которые выходят на улицу Стабу.** В гараже вдоль стены боксы. Кажется, нам тогда показали два таких бокса, где велись расстрелы. Вся стена выщерблена пулями, заляпана мозгами, и все

* PD — аббревиатура латышских слов, означающая «служба содействия».

* Об этом писала рижская газета «Яунакас зиняс» от 25 июня 1940 г.

** Улица Фр. Энгельса.

такое прочее. Канализацию показали, куда все стекало. Пояснили, что трупы расстрелянных складывали в кузов грузовика и вывозили...

После капитуляции Германии в 1945 году сдались и мы, сидевшие в Курляндском котле, и тут стали арестовывать местных жителей. Моложе 60 — всех подряд. Буквально всех: кого поймают, того забирают. Под Маткуле был лагерь, кого там только не было. Из Маткуле мы пешком шли в Елгаву. Возле Елгавского сахарного завода был уже капитальный лагерь. Там нас обобрали до нитки, отняли все личные вещи. Поначалу нас держали на берегу Лиелупе, на лугу. Один-два охранника. Бежать никто не пытался, и мысли такой не было. Знать бы, что с нами станет, может, и убежали бы, возможность была. Потом скомандовали построение и загнали всех в лагерь, тут уж кругом охрана. Ограждение по всем правилам — высокий забор, два ряда колючей проволоки, нечто вроде нейтральной зоны, еще один забор, пониже первого, внутри еще один. Всего четыре ряда. Два высоких и два низких. На каждом углу пост с пулеметами, автоматической винтовкой — чего там, если уж стреляли, так очередями. Сама территория поделена на четырехугольные площадки, обнесенные колючей проволокой. В каждом четырехугольнике — сто человек. И тут стали выводить каждого по отдельности — выведут сто человек на площадку, еще раз обыщут, потом ступай на пустой плац, одним словом, так по кругу у всех все вытрясли вчистую. Мы считались военнопленными. Распускались слухи, что русские теперь другие, не то что в 41-м, все будет иначе. И люди верили. Ведь преступников среди нас не было, зачем бежать. Не помню, сколько дней нас продержали в Елгавском лагере, но недолго — погнали к эшелонам. Вагоны для скота. Сегодня таких маленьких вагонов не увидишь — в каждом по 40 человек. Как селедки в бочке, в два яруса. До Москвы 7 дней ехали. Там поместили нас в какой-то лагерь. Повстречали латышских легионеров, попавших в плен во время войны. Бараки были переполнены, спали под открытым небом, в дождь. Фильтрационный лагерь находился на Москве-реке. Там, в каком-то недостроенном здании, нас поначалу и поселили. Строился — вроде бы немцами военнопленными — институт металловедения. Мы соорудили нары и какое-то время там обитали. Позднее на стройплощадке поставили круглые финские палатки. Нас перевели в палатки. Работали мы на этой стройке. Русские, латыши, немцы, люди других национальностей. Да, были и немцы, зачем их поместили к нам в фильтрационный лагерь, не знаю. Может, это поволжские немцы были. Одним словом, поставили меня бригадиром. Под моим началом 30 человек. Назначили, верно, потому, что

я владел русским и немецким. Десятником, кому мы непосредственно подчинялись, был некто Давыдов, довольно неприятная личность. Как-то вызывает он меня, дает задание и говорит — надо дров набрать из отходов. За день полный грузовик чтоб был. То есть дневная норма. Машина у нас была, что ж, поднабрали отходов, нагрузили ее доверху, за это нам дополнительный паек выдали. Все обрадовались — красноармейское тыловое довольствие, как-никак добавка к рациону. А это немало. Проходит какое-то время, вызывает меня Давыдов и дает такое же задание. Но все дрова уже собраны. Наскребли с трудом на еще один грузовик. Проходят дня три-четыре, Давыдову опять подавай то же самое. Я говорю — где же взять, нету дров, всю стройплощадку подмели. А он знай свое — надо, и все тут. Я мужикам своим растолковываю, в чем дело. Думаю: неужто доски пилить, стройматериалы все-таки. Обсудили и решили — не будем собирать дрова, негде взять. К вечеру машина пуста, Давыдов дополнительного пайка не выдает, но по-малкивает. Однако на следующее утро вновь с тем же заданием пристает. Ситуация: распили доску, то есть стройматериалы, зачислят во вредители, а с него-то как с гуся вода. Отвечать будет бригадир, бригада. Мы отказываемся. Он давай на нас писать. В лагере был свой чекист — оперуполномоченный. Всякие дела рассматривал. Словом, стал нам дело шить. Меня вызывал как-то, но не по тому вопросу. Давыдов твердит одно: почему не выполнено задание, плохо работаете. Я пытаюсь что-то про дрова сказать, не слушает: фашисты, и точка, работать не хотите — в таком вот духе. И приказывает нам опять собирать дрова, а нам их взять неоткуда. После окончания рабочего дня приходит грузовик с оконным стеклом. Я отправляю 10 человек из своей бригады на разгрузку. Подставили планки, чтобы аккуратно все выгрузить, не разбить. А ему кажется, что мы копаемся. Шофер, мол, не может ждать. Взяли они и свалили все стекло на землю. Разбилось, конечно. И пошло, всякую ложь строчит. В конце концов — было это 31 декабря после обеда — является за мной оперуполномоченный. Беру вещички и вперед. Через проходную, а там меня легковушка поджидает. Спустя какое-то время въезжаем через огромные железные ворота во двор. Офицер куда-то уходит, мы с шофером сидим в машине. Вижу, въезжает черный воронок, офицеры — из Средней Азии — отворяют снаружи двери — и оттуда выходят люди. На выходе офицер их пересчитывает — раз! — и стеком по спине. На счете 8 или 9 он сбивается — полезай все назад. И снова считает. Стеком — бац по спине! И так три раза. До меня еще не доходило, что я в тюрьме. Поместили меня в одиночку. В 12 ночи ровно —

Новый год, значит, — вызывают улаживать формальности. За что арестован, не знаю. В общем, не пойму, арестован я или нет. Они, конечно, тоже притворяются, что ничего не знают, — сам, что ли, не понимаешь? После завершения всех формальностей проходит еще какое-то время. Отводят меня в баню, раздевают, обыскивают — и в камеру. Проходит недели две. Обвинения никто не предъявляет. Наконец вызывают и говорят — пиши автобиографию. Я написал, вкратце. Так прошло еще несколько дней, и тут мне предъявили обвинительное заключение. А я ни в законах этих, ни в статьях не разбираюсь. Сокамерники объяснили — статья 58-я, и раз и два и три и шесть и десять и двенадцать и т. д. и т. п. Через некоторое время пошли допросы: вызывают часов в 12 дня, заталкивают в бокс, и ты стоишь, ну я не знаю, часов до десяти-одиннадцати вечера, уже темно, вот и полночь, тут допрос и начинается. Полгода просидел в этой тюрьме, пока не отправили по этапу в Соликамск (кажется, в июне это было). Тройка, именуемая военным трибуналом. Суд продолжался минут 10—15, оттуда на пересылку на Красной Пресне... Лагерь назывался Соликамлаг, в Боровске. Село Боровск, город Соликамск. Там был строительный комбинат, но я на нем работать не мог, весу во мне было 48 кг. А в зубоврачебном кабинете работал зубной врач, не владевший русским языком. С его помощью я устроился к нему переводчиком. Поскольку медицина у меня еще не совсем выветрилась из головы, выполнял и обязанности фельдшера. Позднее там был организован ОП — оздоровительный пункт. Набралось туда около 4000 человек. Для такой массы народу нужны, конечно же, амбулатория, медпункт. И меня перевели в медпункт фельдшером. Питание было получше, и в зависимости от того, кто как подкормился, брали на ответственную работу. Повидал я тогда т. н. покупателей — они покупали рабов. Когда-то на невольничьих рынках покупатели заглядывали негру в рот — зубы есть, значит, едок... А у нас смотрели по заднице. Большая задница — раб первой категории, поменьше — второй, еще меньше — третьей, а четвертая категория — это уж были дистрофики. После каждой комиссии людей отбирали по степени упитанности и увозили... В лагере были и литовцы, и эстонцы, а также югославы — бойцы армии Тито, они все протестовали — мол, мы за Тито, но их все равно заточили сюда, они продолжали протестовать, и за это их поместили в клетки... Мне дали 10 лет... Какой там суд! Назови имя, фамилию, отчество, еще кое-что: ну, ладно, ступай, жди... Заходят: тебе столько, получай. Следующий.

Материал подготовил
ИМАНТС БЕЛОГРИВС

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН

И. А. Ильин — один из выдающихся русских философов XX века. Несмотря на то, что он не входит в число общепризнанных представителей духовного ренессанса начала века, Ильин как в постановке, так и в решении основных для него вопросов принадлежит к магистральной линии русской религиозной философии.

В качестве первоинтуиции, определившей во многом социально-политические взгляды Ильина, можно назвать положение о всеобъемлющем кризисе духовности в наше время. «Современный мир переживает глубокий кризис, — писал Ильин в 1935 г., — религиозный, духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе: творчески создать его; убедиться и удостовериться в его верности (...). Надо самому начать быть по-новому».

Это духовное обновление должно совершиться в самосозидании нового человека, нового духовного характера. В этом кроется главная отличительная черта Ильина на фоне русской философии нашего века, так как при активном утверждении духовного обновления, нового человека, Ильин выступил одним из самых авторитетных защитников традиции. Обновление, проповедуемое Ильиным, не имеет ничего общего с новизной «авангарда», будь то в философии, в искусстве или в морали. Более того, культивируемая в нашем веке «авангардность» (как принципиальная нетрадиционность, непохожесть) была для Ильина самым выразительным симптомом духовного кризиса человека. Новизна нового человека, нового духовного характера может быть достигнута только через возвращение, через восстановление. Через возвращение к старым и вечным, но по-новому — в Духе — воспринятым истинам.

Это — возвращение к тому «новому человеку», к той «новой жизни», которая заповедана нам Христом две тысячи лет назад, но которая и сегодня и до скончания века сохраняет в себе качество абсолютной новизны. Нужно очистить дух человеческий от больных исторических наростов и искажений и, восстановив его чистоту, облачить его снова в крещальные «белые одежды», построить себя заново.

Можно сказать, что Ильин ратует за своего рода Новое Средневековье, в котором весь мир вновь должен осознать Бога своим единственным и нерушимым основанием, когда он будет ориентирован на Него и в Нем получит свое духовное оправдание. Но это должно быть именно **новое средневековье**, в построении которого учтен весь пройденный человеком путь, с его достижениями и падениями, и оно станет возможным только по достижении **нового универсализма**, но не того «принудительного универсализма» (П. И. Новгородцев), который был свойствен историческому средневековью, а свободного и духовного универсализма, до конца осознанного и принятого на путях свободы. Ильин призывает вернуться к некоей в вечности данной «изначальности» и из нее начать заново процесс взращивания человеческого характера, чтобы «творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим».

Иван Александрович Ильин родился в Москве 28 марта 1883 г. В 1901 г. он окончил с золотой медалью 1-ю Московскую классическую гимназию и поступил на

юридический факультет Московского университета, где стал учеником выдающегося русского правоведа и мыслителя П. И. Новгородцева. По окончании в 1906 г. университета по первой степени Ильин сдает кандидатское сочинение и остается при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре энциклопедии права и истории философии права. В 1910 г. начинается преподавательская и лекторская деятельность Ильина, и в том же году он отправляется в заграничную командировку по Германии, Франции и Италии для подготовки к магистерской диссертации, темой которой он избрал философию Гегеля. Во время поездки Ильин посещает семинары крупнейших немецких философов Г. Зиммеля, Г. Риккерта, Э. Гуссерля и др., выступает там с докладами.

Защита магистерской диссертации Ильина «Философия Гегеля, как учение о конкретности Бога и человека» (М., 1918) прошла уже после революции, в 1918 г. Официальными оппонентами на защите были проф. П. Новгородцев и проф. кн. Е. Н. Трубецкой. Труд Ильина был признан настолько блестящим и фундаментальным, что факультет единогласно присудил ему сразу обе степени — магистра и доктора государственных наук. Этот труд Ильина стал общепризнанно лучшим на русском языке трудом о немецком философе. Получил он признание и на Западе.

Революцию Ильин воспринял как государственное, национальное и религиозное крушение России. С самых первых дней он был в оппозиции к так наз. революционному правительству, и как только на юге России началось формирование Добровольческой армии генералов Корнилова и Алексеева (а впоследствии Деникина и Врангеля), сердце и воля Ильина были на стороне Белого движения. Позднее, уже в эмиграции, Ильин стал одним из авторитетнейших, наряду с акад. П. Струве и В. Даватцем, идеологов Белой идеи. В идеологии Белого движения Ильин видел начало новой, возрожденной России, построенной на началах государственных, национальных и религиозных. Ильин писал об этом в 1926 г. в статье «Белая идея»: «Белое дело по необходимости велось, и может быть, будет вестись и далее — мечом; но меч совсем не есть его единственное оружие. Белый дух будет верен себе и в гражданском служении, и в созидательном труде, и в воспитании народа».

В 1922 г. Ильина вместе с другими философами большевики высылают из России, и они оказываются в Берлине. В основном тогда же берлинском Русском научном институте Ильин долгие годы был профессором юридического факультета. Он

читает много лекций в различных центрах русского рассеяния (в том числе в Риге). Но в 1934 г., из-за несогласия с режимом национал-социалистов, Ильин лишается кафедры и потом вообще возможности выступать публично. После усиления репрессий философ в 1938 г. вынужден переехать в Швейцарию, где много работает над главными своими трудами. Умер Ильин в г. Цолликоне под Цюрихом в 1954 г.

В своей социально-политической философии Ильин последовательно отстаивал принципы «либерального консерватизма». Суть этого направления политической мысли заключается в том, что оправдание свободы и социального творчества не противопоставляется верности традициям и религиозной вере, но, напротив, они признаются взаимообусловленными. Всестороннее философское обоснование этих взглядов дал С. Л. Франк в книге «Духовные основы общества» (1930): «Мы имеем здесь, в лице этих начал консерватизма и творческой инициативы (...) таких противников, которые, несмотря на свой неустанный антагонизм, как бы прикованы друг к другу, питаются и живут каждый за счет другого и потому призваны к мирному сотрудничеству и согласованию». Перед общественной жизнью, в таком случае, встает задача «установления гармонического равновесия между ними».

В соответствии с принятием принципов либерального консерватизма Ильин видел оправданность, наряду с личной свободой, начала государственности. Государство у Ильина имеет духовную природу: «Государство творится внутренне, душевно и духовно...» Оно отнюдь не тождественно аппарату физического или духовного насилия: «Внешнее принуждение, меры подавления и расправы, к которым государственная власть бывает вынуждена прибегать — совсем не определяют сущность государства. Это есть дурной предвзвешенный док...» При этом необходимо добавить, что созданный большевиками тоталитарный режим Ильин вовсе не считал государством в истинном смысле этого слова. «Тоталитарный режим, — писал он, — не есть — ни правовой, ни государственный режим. Созданный материалистами, он весь держится на животных и рабских механизмах «тела—души» (...) Это не государство, в котором есть граждане, законы и правительство; это социаль-гипнотическая машина; это жуткое и невиданное в истории биологическое явление — общество, спящее страхом, инстинктом и злодейством, — но не правом, не свободой, не духом, не гражданством и не государством».

Ильин отстаивает религиозную природу государства и права, так как он исходит из евангельской истины: «Богом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (Колос. 1, 16). Мир является своеобразным «иероглифом Божиим», и потому человек должен увидеть и осознать присутствие Божие в мире — в семье, в государстве, в политике, в хозяйстве и т. п. Такое сознание, во-первых, воспитывает в человеке особое чувство ответственности — не только перед ближ-

¹ Председатель Русского академического союза в Риге Р. М. Зиле вспоминал позднее: «В 1931 г. в Риге, когда мы впервые приглашали И. А. приехать для прочтения ряда лекций, пришлось обратиться за отзывом к латвийскому министру народного просвещения, чтобы получить от латвийских властей въездную визу для И. А. Министром образования в Латвии был тогда проф. Тентелис, бывший ранее профессором историко-филологического факультета С.-Петербургского университета, латышский националист. На обращение за отзывом он только заявил, что это ведь «тот Ильин, который написал лучшую в мире книгу о Гегеле». И визы с тех пор давались беспрепятственно».

² Термин впервые введен кн. П. А. Вяземским по отношению к зрелому Пушкину. В нашем веке видными представителями этого направления политической мысли были П. Струве и С. Франк.

ними, но и перед Богом, а во-вторых, позволяет увидеть духовную основу общества. Общество, состоящее из отдельных индивидуумов, распалось бы, если бы не было удерживаемо вневременным духовным единством. Отделенные друг от друга в своей материальности индивидуумы получают возможность общения лишь постольку, поскольку каждый из них в равной степени является образом и подобием Божиим (другое дело — степень искажения этого образа в каждом из нас). И именно эта связь каждого с единым Богом указывает на изначальное единство общества и государства.

Такой религиозно обоснованный взгляд на государство диктует иное, по сравне-

нию с обычным в наше время, отношение к государственной работе — к политике. «С одной стороны, — пишет Ильин, — политика совсем не есть сочетание массовой демагогии и расчетливой закулисной интриги, честолюбивой толкотни и беспринципного компромисса, партийного засилья и бессмысленного голосования вслепую. С другой стороны, она совсем не сводится к насилию и коварству, к деспотизму и террору, к классово-борьбе и к тоталитарным способам управления (...) На самом же деле политика имеет совсем другие задания, совсем иную природу, совсем иной духовный стержень, а именно: властно внушаемая солидаризация народа; авторитетное воспитание личного,

свободного правосознания; оборона страны и духовный расцвет культуры; созидание национального будущего через учет национального прошлого, собранного в национальном настоящем (...) Политика требует качественных людей. Только им будет возможно осуществить все связанные с политикой компромиссы, не роняя ни себя, ни государственную власть (...) В политике и государственности есть нечистые стороны и дела; их нельзя отрицать; от них нельзя зарекается. Но именно поэтому политика требует большой идеи, чистых рук и жертвенного служения».

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

ИВАН ИЛЬИН

О ТВОРЧЕСКОМ ПРАВОСОЗНАНИИ

Здоровое правосознание есть не только **свободное и лояльное** состояние души, но и **творческое** состояние. Оно принимает действующие законы не для того, чтобы формально проводить их в жизнь, превращая правопорядок в мертвую бюрократическую работу, в сухое педантизм, в явную несправедливость; но для того, чтобы оживлять отвлеченные формулы закона из той духовной глубины, где живет **чувство права, человечность и любовь**. Здоровое правосознание **творит** право не только тогда, когда изобретает новые, лучшие законы, но и тогда, когда **применяет действующие** законы к живым отношениям людей.

Каждый закон имеет обычно строго определенный, записанный и напечатанный словесный состав. За его словами скрывается логически помысленное и формулированное суждение, в котором обозначено, каким людям, в каких случаях жизни принадлежит строго определенные полномочия, обязанности и запретности. Каждый человек имеет, конечно, эгоистический интерес истолковать это суждение и эти определения так, чтобы на его личную долю выпало как можно меньше обязанностей и запретностей и как можно больше прав или полномочий. В большинстве случаев люди стараются перетолковать закон в свою пользу, а иногда и прямо извратить его смысл. В противоположность этому здоровое правосознание движется по совершенно иному пути.

Человек со здоровым правосознанием старается прежде всего отодвинуть в сторону свой личный интерес и понять смысл закона так, как он предносился **мысли и воле самого законодателя**. Он стремится уловить и усвоить ту **цель закона**, которую законодатель имел в виду: **для чего** этот закон был придуман и установлен? **Как и чем** должна была быть достигнута эта творческая цель? и т. д.

Когда эта первая задача разрешена, тогда встает вторая: надо постигнуть не ту цель, которую когда-то имел в виду законодатель, и не тот смысл, который тогда, исторически ему предносился, но другую цель — **высшую и подлинную цель социальной справедливости**, которая должна была бы предноситься законодателю, если бы он исходил из здорового, «нормального» **христианского правосознания**. Эта задача несравненно труднее и ответственнее. Чтобы разрешить ее, человек должен ввести установленный им смысл закона и фактическую цель законодателя в **глубину своего здорового христианского правосознания**, как бы окунуть их в эти очистительные и целительные воды; или, выражая это в ином образе, — он должен поставить найденный им смысл и уловленную им цель закона в луч так называемого «первоначального», или «естественного», правосознания, которое соответствует в области права тому, что мы называем в области нравственности — **совестью**. Человек должен сделать это не для того, чтобы осудить или даже отвергнуть положительный закон, но для того, чтобы,

применяя его к жизни, выделить в нем и выдвинуть на первый план, сделать решающими — найденные в нем, **справедливые и верные, христиански-социальные элементы**. Надо научиться извлекать из каждого закона то, что в нем **верно и справедливо**. Надо сделать так, чтобы **дух владел буквою** и чтобы буква не заедала дух. Надо отыскивать в каждом законе скрытую в нем правду и ей отдавать первенство над остальным. **В каждом законе надо как бы разбудить заснувшую в нем справедливость**. В каждом законе надо уметь найти то, что может одобрить правовая совесть человека; и это найденное надо делать руководящим началом. Это можно было бы выразить еще в таких образах. В каждом законе есть некое доброкачественное звенящее серебро правоты и добра; надо отчистить монету закона так, чтобы это серебро появилось и засияло. Или иначе: составляя и издавая закон, законодатель как бы смотрел в очки своего правосознания — на реальную жизнь и на требования естественного права и справедливости; эти очки его надо добыть и в них поглядеть, но не для того, чтобы увидеть только то, что он видел (это было бы делом «исторической догматики»), а для того, чтобы увидеть **больше и лучше** и чтобы влить это большее и лучшее в толкование и применение закона (и это будет делом **творческого правосознания**). Или еще иначе: не стоит читать старый манускрипт, не стряхнув с него пыли; кто оставит потемневшую от грязи и пыли картину в неочищенном виде и не попытается бережно счистить с нее посторонние слои, чтобы увидеть ее в ее подлинном виде и чтобы разглядеть скрытую в ней художественную глубину? ..

Этот акт творческого правосознания следует представлять себе так.

В глубине человеческой воли живет некое **верное, справедливое** волеуправление, которое как бы **«видит»** или **«чувствует»** права людей и добивается их осуществления в жизни. Эту способность души можно обозначить, как **первоначальное или естественное правосознание**; иные называют его «чувством права», другие «правовой интуицией», третьи «правовой совестью». Дело, конечно, не в наименовании, а в том, чтобы **читать** в самом себе это проявление духа, **беречь** его, **пробивать себе дорогу к нему и совещаться с ним во всех правовых делах**. Ибо только на этом пути можно развить и укрепить в себе «естественное правосознание» и придать ему в жизни настоящую творческую силу.

Естественное правосознание, подобно совести, присуще в большей или меньшей степени каждому человеку — «от природы». То, что оно дает и открывает человеку, есть — иногда смутное, иногда очень отчетливое — предствление о **лучшем праве; о духовно-верном и справедливом распределении прав** среди людей; и, главное, о той **объективной цели, которой служат право, государство и суд**.^{*} В частности, при применении и толковании закона,

* Раскрытие идеи «естественного правосознания» требует особого исследования.

естественное правосознание указывает людям на то, какое содержание **должно было бы** заключаться в данном законе, если бы законодатель исходил из естественного правосознания, и как нужно наилучшим образом применить к жизни данный закон для того, чтобы он служил единой и объективной цели всякого права.

Само собой разумеется, что показание естественного правосознания не дает сразу ни готового закона, ни готового судебного приговора. Однако оно указывает человеку неколеблющееся и несомнительное **направление**, в котором **должны двигаться ум и воля людей для творческого правообразования**. Для издания закона и для вынесения приговора нужны особые полномочия. Но культивировать в себе естественное правосознание может и должен каждый из нас, особенно же те люди, которые заняты вопросами права, по самому призванию своему. Ибо, поистине, право не есть только **условная формула**, выдуманная и установленная людьми, и значение права не определяется одним человеческим предписанием (по Аристотелю: «νῆσει» — «уложением»); право есть, по самому существу своему, некая **духовная, священная ценность**, и значение его определяется **тем способом духовного бытия, который присущ земному человеку от природы** (по Аристотелю: «ψῦσει»).

Чтобы удовлетвориться и убедиться в этом раз навсегда, надо только представить себе однажды со всею силою и наглядностью, что вот я (именно я, а не кто-нибудь другой) **лишен всех прав и отдан в жертву полному бесправию**: отныне у меня нет **никаких** огражденных полномочий; я нигде не могу найти **никакой** правовой защиты; другие люди не имеют никаких обязанностей по отношению ко мне, мало того, они могут делать со мною все, что угодно; им все позволено, а я — вне права и закона; я подобен как бы беспризорному ребенку, отданному в жертву чужой жадности, злобе и властолюбию...

Кто однажды вообразит себя в таком состоянии и вчувствуется в него и увидит себя **погибающим** от него, — тот мгновенно «услышит» в глубине своего существа громкий и властный голос, требующий **своих священных, неприкосновенных, неотчуждаемых прав** и взывающий к их признанию, уважению и защите. Этот голос будет требовать не только **права на жизнь**, но и права **жить свободно и свободно творить**; он будет настаивать не только на **священных правах личности**, и не только на их **принципиальной неприкосновенности**, но он будет требовать еще, чтобы они в самом деле были **ограждены и не попирались другими**.

Вот это и есть первое проявление первоначального или естественного **правосознания**, которое скорее всего пробуждается в людях тогда, когда дело идет о попрании их **личных прав**: тогда инстинкт **самосохранения** внезапно переходит на сторону **правовой совести** и человеку вдруг становится до очевидности ясным то, в чем он был склонен сомневаться всю жизнь. Однако это пробудившееся естественное правосознание имеет сообщить человеку нечто существенное не только **о нем самом** и его личных правах, но и о других людях, **о всех людях** и об их священных и неприкосновенных правах. И, вняв этому, человек должен признать, что **естественное правосознание** отнюдь не есть кабинетное измышление, но реальный и живой духовный орган, присущий человеку и необходимый ему на всех путях жизни; и он признает еще, что естественное правосознание необходимо не только **другим** людям, чтобы они уважали **его** права, но и **ему самому**, чтобы он уважал права **других** людей.

Тот, кто сомневается в **естественном правосознании** и в его значении, тот должен проделать описанный мною внутренний опыт, но не в виде забавы, а со всею серьезностью и ответственностью; и тогда он увидит, что обогатился целым духовным открытием или постижением, которое останется для него незабвенным. Ему останется только додумать и дочувствовать до конца, что люди связаны друг с другом **правовой взаимностью**, в силу которой — мои права питаются в жизни чужими обязанностями и запретами, а я сам должен исполнять свои обязан-

ности для того, чтобы не нарушались права других людей. Так гласит третье правило здорового, творческого правосознания: **пусть всякое действующее, положительное право** — будь то закон или полномочие, приговор или запрет, юридический обычай или повинность — **будет освещено и облагорожено лучами, исходящими из глубины естественного, христиански-воспитанного правосознания**. Тогда только отношение человека к праву станет **творческим** в истинном и глубоком смысле слова.

Если бы современный человек захотел и сумел серьезно признать и осуществить в действительности хотя бы эти три основных правила здорового творческого правосознания, то началось бы обновление всего социального и политического строя современного государства. Преодоление того духовного кризиса, который ныне переживает человечество, не может быть достигнуто и не будет осуществлено одними «внешними» и «формальными» реформами. Дело не только в новых учреждениях и законах; дело в обновлении правосознания. Первое и последнее, **решающее слово** остается за самим духом, т. е. в данном случае за правосознанием.

И только на этом пути можно верно и творчески обновить политическую и государственную жизнь.

О ГОСУДАРСТВЕ. ЕГО ЖИВАЯ ОСНОВА

Государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как **родина, оформленная и объединенная публичным правом**; или иначе: **множество людей**, связанное общностью **духовной судьбы**, и сжившихся в **единство** на почве **духовной культуры** и правосознания. Строго говоря, — этим все уже сказано.

С незапамятных времен люди и народы объединяются в государства и участвуют в политическом общении; и размеры исторически накопленного или политического опыта поистине огромны. И тем не менее мы должны признать, что первая и основная аксиома политики не постигнута большинством людей. Эта аксиома утверждает, что **право и государство возникают из внутреннего духа, духовного мира человека**, создаются именно **для духа и ради духа** и осуществляются **через посредство правосознания**. Государство совсем не есть «система внешнего порядка», осуществляющаяся через внешние поступки людей. Оно совсем не сводится к тому, что — «кто-то написал», «подписал», «приказал»; что «какие-то люди куда-то пошли», «собрались», «говорили», «кричали», «не давали друг другу говорить», «решили»; что «массы народа скопились на улице», что «собрание было распушено полицией», что «начали стрелять», «убили столько-то», «посадили в тюрьму столько-то» и т. д. и т. п. Словом: **внешние проявления политической жизни совсем не составляют самую политическую жизнь; внешнее принуждение, меры подавления и расправы, к которым государственная власть бывает вынуждена прибегать, — совсем не определяют сущность государства**. Это есть дурной предрассудок, вредное недоразумение, распространенное близорукими и поверхностными людьми.

На самом деле государство творится **внутренно, душевно и духовно**; и государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их душе; ее орудием или органом является **человеческое правосознание**. Разложение государства или какого-нибудь политического строя состоит не просто во внешнем беспорядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и сражениях гражданской войны. Все это — лишь зрелые плоды или проявления уже **состоявшегося внутреннего разложения**. Люди «не видят» этого внутреннего разложения; тем хуже для них; тем опаснее для государства. Люди не умеют ни понять, ни объяснить, ни побороть эту душевную смуту, этот духовный распад; тем фатальнее будут последствия. Можно было бы сказать: **настоящая политическая жизнь не кричит в собраниях и парламентах и не буйствует на улицах; — она молчит в глубине национального правосознания**; а крики, буйство и стрельба — это только страстные и чаще всего нездоровые взрывы внутренней политической жизни. Политиче-

ский гений, великий государственный человек умеет прислушиваться к этому молчащему правосознанию своего народа — и считаться с ним; мало того, он отождествляется с ним; он говорит и действует из него; и если он обращается к нему, то и народ, узнав его чутьем, прислушивается к нему и следует за ним. Таким образом народ и его вождь встречаются и объединяются друг с другом в той таинственной глубине, где живет любовь к родине и иррациональное государственно-политическое настроение.

Что же делается с государством, во что оно превращается, если в народе и у его вождей исчезает истинное государственно-политическое настроение?

Тогда государство превращается в систему судорожного насилия, в принудительный аппарат, в неустойчивый компромисс между людьми, исполненными взаимной ненависти, и между классами, ожесточенно борющимися друг с другом, — словом, в прикровенную гражданскую войну. Тогда вся так называемая «политика» превращается в духовно уродливую, всеунижающую и продажную суетню. Тогда государство оказывается накануне крушения. Потому что без настоящего государственно-политического настроения чувств и воли — государство не может существовать.

Истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма и национализма, есть не что иное, как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно настроенная душа воспринимает свою родину, как живое правовое единство и участвует в этом единении своим правосознанием; это значит, что гражданин признает государство в порядке добровольного самообязывания и называет его «мое государство» или «наше государство».

Если мы начнем изучать государство формально и поверхностно, то мы заметим, что принадлежность человека к его государству («гражданство» или «подданство») очень редко зависит от его свободного выбора; обыкновенно она определяется обязательными для него законами государства и не зависит от его доброй воли или согласия. Еще до его рождения было установлено законом, что имеющий родиться младенцем будет принадлежать к такому-то государству; и в дальнейшем никакие ссылки его на то, что «он этого не знал», или «не выразил тогда своего согласия», или «теперь больше не согласен», не могут погасить односторонне его гражданство или подданство. По общему правилу проблема гражданства или подданства разрешается односторонне, формально и связующе.

Понятно, что в таком понимании и трактовании этого вопроса лежит известная опасность. Дело в том, что духовный смысл гражданства и жизненная сила его нуждаются в свободной любви гражданина и в его добровольном самообязывании; необходимо, чтобы формальная причисленность к государству не оставалась пустой и мертвой видимостью, но была исполнена в душе гражданина живым чувством, лояльною волею, духовной убежденностью; необходимо, чтобы государство жило в душе гражданина, и чтобы гражданин жил интересами и целями своего государства. А между тем формальная регистрация граждан, их властное и одностороннее причисление к государству — с этим не считается и от этого не зависит. И вот, государственная принадлежность, не наполненная живой любовью гражданина к его родине и к его народу, и не закрепленная его добровольным самообязыванием, может очень легко создать политическую иллюзию: появляются целые слои мнимых граждан, которые не принимают к сердцу ни жизни, ни интереса «своего» государства, — одни по национальным побуждениям (они в душе причисляют себя к другому народу), другие по хозяйственным соображениям (они заинтересованы в смысле промышленности и торговли в процветании другого государства), третьи по социально-революционным мотивам (они желают «своему» государству всяческого неуспеха и военных неудач)... Все эти «граждане» — принадлежат к государству только формально — юриди-

чески; а душевно и духовно они остаются ему чуждыми, может быть прямо враждебными, не то вредителями, не то предателями. Гражданин, который несет свою государственную принадлежность против своей воли или без своего внутреннего согласия, есть явление — духовно нездоровое, а политически — опасное: государство и правительство должны сделать все возможное, чтобы приобрести его уважение, его сочувствие, его лояльность, чтобы завоевать его сердце, его волю, его правосознание. Но если в государстве имеются целые народности, или целые социально-хозяйственные классы, или целые политические партии, которые упорствуют в своем нелояльном обособлении, а может быть и вступают в заговоры, то политическая опасность превращается в настоящую угрозу...

Итак, можно было бы сказать, что государственное настроение души, объемлющее и чувство, и волю, и воображение, и мысль (а следовательно ведущее к решениям и поступкам) — составляет подлинную ткань государственной жизни; или как бы тот воздух, которым государство дышит и без которого оно задыхается и гибнет. Без этого государственно правосознания государство становится простой видимостью, которая, может быть, имеет правовую силу и «давление», но духовно висит над пустотою. Иными словами: государство соответствует своему достоинству и своему призванию только тогда, когда оно создается и поддерживается верным духовным органом, т. е. таким духовным органом, который в свою очередь соответствует своему призванию и своему достоинству, — здоровым, государственно настроенным правосознанием. Своекорыстные, безнравственные, продажные люди; беззащитные и беспринципные карьеристы; циничные демагоги; честолюбивые и востолобивые авантюристы, — не говоря уже о простых преступниках, — не могут ни создать, ни поддерживать здоровый государственный организм. Ибо государство есть организованное общение людей, связанных между собою духовной солидарностью, и признающих эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками... Это значит, что настоящее, здоровое государство покоится именно на тех духовных основах человеческой души, которые мы вскрыли в нашем исследовании.

Согласно этому в жизни народов есть известная мера отсутствия правосознания, безнравственности, безразличия к родине, продажности и трусости, при наличии которой никакое государство не может более существовать, при которой оно оказывается не в состоянии поддерживать и ограждать культуру в мирное время, ни оборонять родину во время войны. Бесспорно, государство не призвано проповедывать людям нравственность и добродетель, или принуждать людей к любви, совестливости и духовности; об этом достаточно уже сказано выше. Напротив, государство скорее предполагает эти достоинства в человеческих душах, как бы подразумевает их и опирается на них. Но горе ему, если оно довольствуется тем, что «подразумевает» эти достоинства в своих гражданах и если в его пределах нет свободных организаций и частных сил, которые идут ему навстречу в деле насаждения в душах добра, духовности и патриотизма! Принудить человека к любви и духовности нельзя; но его можно и должно воспитывать к духу и любви, и государственная школа несомненно должна быть проникнута этим стремлением. Высшая цель государства отнюдь не в том, чтобы держать своих граждан в трепетной покорности, подавлять частную инициативу и завоевывать земли других народов; но в том, чтобы организовывать и защищать родину на основе права и справедливости, исходя из благородной глубины здорового правосознания. Для этого государству даются власть и авторитет; для этого ему предоставляется возможность воспитания и отбора лучших людей; для этого оно создает армию и флот. Этой цели государство и призвано служить; а служить ей оно может только через преданное и верное правосознание своих граждан.

БЕСЕДА АМАНДЫ АЙЗПУРИЕТЕ С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

Когда я вернулась домой, дети захотели узнать, встретился ли мне Карлсон — тот, с пропеллером и кнопкой на животе. Я призналась, что его не видела. Тогда их интерес погас, но все-таки они еще спросили, как выглядит Стокгольм. И я сказала, что именно так, как написано в книжках про Карлсона. Потому что одной недели в Стокгольме как раз достаточно, чтобы понять, что все там соответствует нашим представлениям, сложившимся после чтения шведских книг. Обнаружить несоответствия или что-то неожиданное просто не хватило времени.

Все же мне повезло, незапланированное и неожиданное произошло. Я встретила Иосифа Бродского. Конечно, произошло это не как в сказке, когда случайно оказываются на одной скамейке в парке и разговор начинается так: знаете, ваше лицо очень похоже на лицо человека, о котором я очень много думала, переводя его стихи на латышский. . . Бродский приехал из своего нью-йоркского дома в Стокгольм по случаю выхода шведского варианта его книги, все газеты помещали интервью с ним на первых полосах, вместе со своим переводчиком он должен был выступить на вечер поэзии. Реклама, конечно, но за всем этим чувствовался и неподдельный и искренний интерес к этому человеку и его поэзии — непривычной для шведской ментальности. Мысль о том, что надо бы с ним встретиться и поговорить (очень не хочется употреблять холодное слово «проинтервьюировать»), тоже принадлежит не мне, а моим шведским знакомым и возникла у них все из того же желания понять. Я не журналистка и, стучась в дверь гостиничного номера Бродского, ощущала себя весьма неуютно — у меня не было заранее составленного списка вопросов, да и вообще я не знала, нужен ли этот разговор (жизненный опыт научил: если нравятся стихи какого-либо поэта, то лучше избежать общения с ним в реальной жизни, лучше не знакомиться с его комплексами и амбициями, это знание помешает после перечитать стихи). Скажу сразу — здесь не тот случай. Чувство неловкости исчезло очень скоро, и там же, в Стокгольме, купленные книги Бродского, выпущенные издательством «Ардис», мне действительно дороги.

Еще о разговоре, с фрагментами которого хочу вас ознакомить. Иногда очень ясно чувствовалось присутствие третьего человека — Анны Ахматовой. Я уже почти год перевожу ее стихи для книги, которая выйдет на латышском, читая одновременно мемуары ее современников. Говоря о последних годах ее жизни, пишущие всегда упоминают Бродского, выбранную эпиграфом строчку из его стихотворения «Вы напишите о нас наискосок» цензура вычеркнула из последнего прижизненного сборника Ахматовой, она переживала и то, что Бродский, как человек, как «тунеядец», не уложившийся в подвластную системе жизнь, был сослан на пять лет. В Стокгольме я впервые читала эссе Бродского — собранные в книге «Less than One», получившую в 1986 году американскую премию за лучшую литературно-критическую книгу года. Я успела перелистать страницы, посвященные литературе — Мандельштам, Ахматова, Цветаева, не успела прочесть автобиографические записи — о семье, детстве, о своем поколении. Иногда ироничные, но не злые и не сентиментальные. Эта книга в основном рассчитана на западного читателя — об этой стране, где нам не нужно разяснять, что такое наша жизнь, и о поэтах, чью жизнь мы тоже знаем хорошо, потому что это и наша жизнь, где не нужно разяснять, что такое коммуналка или беспросветная бедность последних лет жизни Ахматовой.

— Как вы относитесь к Ахматовой? Если сравнивать ваше эссе о Мандельштаме, где вы точно оцениваете его место в поэзии, с эссе об Ахматовой, где вы не даете никаких оценок?

— Статья об Анне Андреевне — это предисловие к ее сборнику, который выходил на голландском, там цель — заинтересовать публику. Как я отношусь к ней? Тут дело не в отношении даже, это положение, в котором вы оказываетесь как читатель. Поразительная история с ней. Очень похоже на отношения, которые складываются с Пушкиным. Вот вы его почитываете, в средней школе прочли, потом в зрелом возрасте, нравятся вам или не нравятся, но всякий раз, когда вы читаете, это становится все более и более стереоскопическим. Она поразительное существо в одном отношении — невероятно скрытое. Вернее — не скрытое, а скрывающееся за своей интонацией. Пока вы не поймете ее интонацию — я вам говорю это как человек, для которого русский язык родной, — вы ее не прочтете. Когда она говорит, слова в общем-то не значат то, что они значат, а как бы указывают на свое значение, а за всем этим — не передаваемый в словах опыт. Когда я думаю об Ахматовой, я не думаю о ее стихах. Вот, например, у Пушкина: «Храни меня, мой талисман». И каждый раз, когда эта строчка возникает в качестве рефрена, вас охватывает ощущение если не ужаса, то очень похожее. Вдруг это искусство становится внесемантическим, когда вы понимаете, что слова нагружены смыслом, который не относится к ним. Это как одежды, которые мы надеваем на себя, чтобы прикрыть тело, а с телом происходят совершенно чудовищные вещи — там то ли разрыв сердца, то ли язвы, то ли раны и т. д. Ну вот — одежда, и вы оцениваете эту одежду по степени ее изношенности.

Иногда я начинаю ее читать и стихотворение не вижу — неинтересно, неинтересно, проходит N-лет — и вдруг! . . . С нею у меня отношения куда более живые, чем с кем бы то ни было. Когда вы читаете Мандельштама, он весь в стихотворении, и это производит на вас впечатление. И вы к этому стихотворению не возвращаетесь, вы прочли все, что там сказано, если вы внимательно прочли. С Анной Андреевной другое — как бы внимательно вы ее ни читали . . .

Вы знаете, с чего начались наши отношения? Это долго объяснять. Но в один прекрасный день мы сидели у нее в комнате, и она говорит: «Иосиф, я не понимаю, что вы здесь делаете: вам мои стихи нравиться не могут». Я: «О, что вы!», и так далее. Но она была абсолютно права, что мне ее стихи нравиться не могут. То есть я понимал, что она говорила, хотя эта фраза кажется мне дурацкой. Если употреблять глупый глагол «нравиться» — мне нравятся не стихи, мне нравятся поэты. Не знаю, как это объяснить. На самом деле все это — служение музам и т. д. — это искусство в высшей степени метафизическое. Оно средство к раскрытию — все это слова, да? . . . к раскрытию субстанции. Хороший поэт зачастую не такой хороший поэт, потому что на бумаге все это эффектно, но субстанции, ее так много — вот этой бесконечной субстанции. И бывает, поэт в средствах не столь замечательный, но вы видите, что за этим такое. Вот Ахматова — это такой случай. И какие-то ее фразы вы бубните. Совершенно не понимая, что происходит. Это поэт, с которым вы более-менее можете прожить жизнь.

— Я поняла по вашим эссе, что это попытки западному читателю объяснить, приблизить русских поэтов, исходя из их биографий. А как вы считаете, что необходимо знать из вашей биографии читателю в России, чтобы вас понять? Кроме того, что у всех на виду. Кроме эмиграции, Нобелевской премии!

— Понятия не имею. Никаких биографических фактов и тайн не было. За исключением того, что когда мне было 22 или 23 года, у меня появилось ощущение, что в меня

вселилось нечто иное. И что меня, собственно, не интересует окружение. Что все это — в лучшем случае трамплин. То место, откуда надо уходить. Все то, что произошло, все эти бенцы, разрывы с людьми, со страной. Это все, при всей мелодраматичности этих средств — а в жизни других нет, — это всего лишь иллюстрация такой тенденции ко все большей и большей автономии, которую можно даже сравнить с автономией если и не небесного тела, то, во всяком случае, космического снаряда. На протяжении человеческой жизни на вас действуют две силы, две гравитации — одна, которая вас тянет к земле, к дому, к друзьям, к любви; и другая, которая вас как бы немножечко вовне вытаскивает. И так со мной случилось, а может, и не случилось, может быть, за всем этим есть определенная логика, и я думаю, что даже больше чем логика, что на самом деле меня действительно испытывает страсть к разрывам, даже не страсть к разрывам, а тяга вовне, из дому. Не получалось, не получалось, десять лет ничего не получалось, десять лет я осаждал крепость. Каждый день я уходил из этой квартиры, из этого дома, ну почему не получалось? И вдруг, я помню — спускался по лестнице и вдруг подумал — а может быть, и не должно было получиться? Этого себе обычно не позволяешь, таких вещей говорить, всегда считаешь себя виновным во всем. Меня в действительности всегда в сильной степени тянуло вовне, не в другое место, не так, скажем, как в другую квартиру, другую кровать, а просто, в некотором роде, в бесконечность. И поскольку я стихи сочиняю, то пытаюсь эту самую бесконечность некоторым образом продемонстрировать.

Рано или поздно наступает момент, когда на вас земное притяжение перестает действовать, когда вы оказываетесь во власти тяготения вовне. И тогда уже вернуться никак невозможно. Можно — только для того, чтобы вместе сфотографироваться. Я, например, вижу всех этих своих корешей, которые теперь валят потоком, и я вижу, как они далеко. Дело не в разнице опыта — вот у них этот опыт, у меня этот — это не решающее. Дело в том, что я прожил другую жизнь, другую не в смысле пространства или качества витаминов. Я действительно прожил свою, жутковатую с любой человеческой точки зрения, но свою, а не чью-либо жизнь. Они что-то там говорят, излагают свои горести, а я киваю, но я знаю, с каким холодом я киваю. Я себя этим попрекаю, попрекаю, но в общем уже и не попрекаю. Уже в эту атмосферу, не то что там сгореть можно — хотя и это может произойти, — а уже даже к ней не приблизиться.

— Как вы себя чувствовали, когда стали знаменитым и многие о вас многое узнали?

— Я ничего этого не чувствовал и ничего этого не чувствую. Вот видите в окне — там такая гостиница с флагами, в ней как раз все это и происходит (вручение Нобелевских премий. — А. А.) Я ничего этого не чувствую, это все равно как на эту гостиницу смотреть, даже нет этого элегического: «О, когда-то там...». Я не знаю, наверное, Анна Андреевна научила не придавать значения. Нет, и не она, не с нее началось. Это началось гораздо раньше, у меня был приятель — старше меня. Он занимался разными восточными мудростями, когда они еще не вошли в моду. И он меня однажды спросил: «Иосиф, неужели ты думаешь, что ты — это твоё тело?» «Конечно, нет», — я ответил, и вот с этого все тогда и началось. Началось отстранение от самого себя. Я думаю, у всех есть такая склонность. Разумеется, по тем временам это было, что называется, self-defence, само-защита, когда вас хватают, ведут в камеру и т. д., вы отключаетесь от самого себя. И этот принцип самоотстранения чрезвычайно опасная вещь, потому что очень быстро переходит в состояние инстинкта, вы инстинктивно отключаетесь. Почему они говорят: гуру, гуру, а мы: какие там гуру! ничего этого не было. Потому что гуру говорили вам, от чего отключаться, от чего не отключаться. А когда вы сами по себе, вы автоматически отключаете себя и от дурного, и от доброго. И вот это опасно. Меня не взвизгиваете, когда вам бо-бо,

но и не улыбаетесь, и не радуетесь, когда полная малина наступает. И когда кто-нибудь выворачивает вам кишки, вы смотрите, вы можете еще что-нибудь сделать руками и ногами, но вам уже все равно. Кроме того, еще христианская тенденция прощать, понимать — когда она накладывается на механизм самоотстранения, тогда довольно быстро наступает такая минута, когда вам с людьми не то что нечего делать, но вы на них смотрите не так, как они на вас смотрят. Птичка всегда смотрит одним глазом в одну, другим в другую сторону, вы всегда видите птичку только в профиль, она на вас смотрит только одним глазом.

Вот как все произошло, и, действительно, положение птички — это хорошее сравнение, когда одним глазом смотришь на свою жизнь, на свой собственный опыт — и чирикаешь.

— Странно, кажется, что такое состояние как раз не для стихов.

— А это как раз стихи.

— В ваших стихах очень густая фактура. Откуда у вас такое знание жизни? Или это придуманное?

— Ничего не придуманное, придумать ничего невозможно. Фактуру, наверное, язык подсказывает, и вы видите все гораздо точнее, когда смотрите одним глазом.

— Вы знаете о статье Наума Коржавина, где он дает советы Прибалтике? Статья была опубликована в «Литературной газете», там он говорит, что понимает, что вроде бы странно, когда эмигрант, который из этого благополучно выбрался, дает советы. Главная мысль там та, что он нас понимает, но все равно мы поступаем очень нехорошо. Что надо бы всем вместе пойти ко дну, а не пытаться выбраться по отдельности.

— За всем этим, за всеми умными высказываниями и вообще за всей русской трагедией стоит одна простая вещь — качество русской церкви. Ахматова говорила: «Христианство на Руси еще не проповедовано», и была права. На протяжении всей нашей истории церковь не являлась — ну, это византийская модель, ее винить особенно нельзя — церковь никогда не являлась источником духовных идей, никаких энциклик или пасторских посланий, ничего этого не было. Чему она людей научила — это видеть в вещах, особенно в вещах дурных, которых избежать нельзя, в трагедиях и т. д. — руку провидения. Что нас, значит, господь воспитывает, а потом нам воздастся. Это все замечательно, здесь есть какой-то и метафизический звук во всей этой идее, но не понимаю конкретное выражение этого. Отлично, хорошо, пускай я вижу руку провидения в том, что мне сейчас отрубят голову, пускай. Но я не понимаю, как человек может позволить себе этот взгляд на вещи, когда происходит нечто подобное рядом с ним, то есть с его соседом. Ну ладно, хорошо, он страдает, может быть, ему от этого даже польза будет потом. И вот этого я не понимаю и не принимаю. И я думаю, что все это действительно исходит от нашей церкви. Я не имею в виду православие, я не хочу все православие сужать до реальностей русской церкви. И когда Коржавин излагает все эти идеи, за этим стоит примерно такое отношение к вещам. То есть пропадай, душа моя, вместе с фимистимлянами. Ну, Самсона еще можно понять, но мне все равно фимистимлян жалко. У него, по крайней мере, пропадая было чего вспомнить, Далилу хотя бы.

Мне хочется сказать почти так же, как Бродский сказал об Анне Андреевне, — пока вы не поймете его интонацию, вы не поймете этот разговор. Но нельзя на бумаге изложить все полуслова и полузаикания, и то настроение нашей пугающей открытости, когда человек говорит о своей жизни! Как можно говорить такое?

В некотором смысле для того, чтобы оправдать свой последний, вроде бы чужеродный вопрос, — я выбрала из вышедшего на английском сборника эссе Бродского такое эссе, где нет ни слова о поэзии. Хотелось бы, чтобы вы узнали его и таким.



ИОСИФ БРОДСКИЙ ЧТО ДО ТИРАНИИ...

Болезнь и смерть единственное, кажется, что соотносит тирана с его подданными. И лишь здесь нация извлекает пользу из управления ее старцем. Не то чтобы осознание собственной смертности с необходимостью просветило или смягчило бы его, но время, истраченное тираном на размышления о, скажем, собственном обмене веществ, суть время, украденное у государственных дел. И внешнеполитические и внутренние гармонии прямо зависят от количества хворей, осаждающих вашего Первого Секретаря Партии или Пожизненного Президента. Пусть даже если он чувствителен настолько, чтобы воспринять дополнительный опыт бессердечия, предоставляемый каждой из болезней, это обретенное знание вряд ли окажется применимым им во внешней политике или в дворцовых интригах; хотя бы потому, что он инстинктивно тянется

к предшествовавшему положению вещей либо попросту надеется на полное выздоровление.

Время, отводимое мыслям о душе, употребляется в случае тирана на изыскание способов сохранения status'a quo. Происходит это потому, что человек в его положении не разделяет настоящее, историю и вечность — сплавляемые государственной пропагандой в одно для удобства как самого тирана, так и его подданных. Он полагается на власть, как любой человек преклонных лет полагается на пенсию либо на свои накопления. То, что проявляет себя чистой верхних эшелонов, воспринимается нацией как охрана стабильности, важнейшего для нации — раз уж та позволила установиться тирании.

Прочность пирамиды редко зависит от ее вершины, и

все же именно вершина привлекает наше внимание. Потом глазам наблюдателя приедается ее невыносимое геометрическое совершенство, и он желает лишь перемен. Но когда перемены происходят, они всегда приводят к худшему. То, что пожилой человек будет сопоставляться возможности бесчестия и дискомфорта, особенно неприятных в его возрасте, вполне, мягко говоря, предсказуемо. В этой борьбе он может проявить себя кровавым злодеем, но это не изменит ни внутреннюю структуру пирамиды, ни ее внешнего облика. И объекты его насилия, соперники и конкуренты, вполне заслуживают подобного обращения уже и по абсолютному подобию их амбиций, учитывая разницу в возрасте. Политика ведь просто доведенный до геометрической ясности закон джунглей.

Там, на острие вершины, место лишь для одного, и лучше ему быть старым, поскольку старики никогда не претендуют быть ангелами. Единственная цель ветшающего тирана состоит в сохранении позиций, и его лицемерие и демагогия не принуждают умы подданных к обязательности веры или дословному следованию. А молодой выскочка, с его искренними либо сыгранными рвением и самоотвержением, всегда кончит тем, что повысит общегосударственный уровень цинизма. Обращаясь к истории, можно уверенно утверждать, что степень бесстыдства наилучшим образом характеризует социальный прогресс.

Новый тиран обязательно изменит соотношение жестокости и лицемерия. Один более склонен к жестокости, другой — к лицемерию. Представьте Ленина, Гитлера, Сталина, Мао, Кастро, Каддафи, Амина и прочих. Они всегда превосходят предшественников по нескольким параметрам, на новый манер выкручивая руки сограждан и запутывая умы наблюдателей. Для антрополога (особенно находящегося вне процесса) развитие подобного типа представляет громадный интерес, поскольку расширяет представления о человеческом роде. Все же следует отметить, что ответственность за вышеупомянутые процессы падает как на технологический прогресс и общий рост населения, так и на конкретную бесчеловечность конкретного диктатора.

Сегодня любое очередное социально-политическое образование, демократическое оно или авторитарное, все более отчуждает нас от духа индивидуализма в пользу массовых мероприятий. Идея об экзистенциальной уникальности каждого заменяется идеей личной анонимности. Индивидуальности оказываются не столько зарезанными, сколько затрахантыми, и, какой бы маленькой страна ни была, она ощущает необходимость в централизованном управлении либо оказывается подчиненной ему. Подобный ход развития порождает различные формы автократий, где тираны как таковые могут рассматриваться в качестве компьютеров устаревших моделей.

Но это бы еще ладно, если бы они были всего-то устаревшими компьютерами. Проблема в том, что тиран может приобрести компьютер и нового поколения, соответственно укомплектовав штат obsługi. Примеры перехода от устаревших форм к формам продвинутым предоставляют нам голосащий в репродукторах Führer и Сталин, использующий систему прослушивания телефонных разговоров для устранения оппонентов из Политбюро.

Люди становятся тиранами не потому, что имеют к этому вкус, и не потому, что использовали подвернувшуюся возможность. Человек с подобными наклонностями изберет кратчайший путь и станет тираном семейным, а настоящие тираны известны как люди, в семейной жизни нерешительные и не слишком ею увлеченные. Движателем тирана является политическая партия (или военные круги, чьи структуры схожи с партийными), поскольку, дабы занять некую вершину, требуется нечто вертикальное по сути.

В отличие от, скажем, горы или, лучше, небоскреба, партия реальность по преимуществу мнимая, изобретенная умственно или как-либо иначе незадействованными людьми. Они пришли в мир и обнаружили, что вся его физическая реальность, все его небоскребы и горы полностью заселены. Выбирать, таким образом, приходится между

ожиданием вакансий в старой системе и устройством новой, альтернативной, их собственной. Второе представляется более целесообразным, хотя бы потому, что за дело можно принять тут же. Партийное строительство — занятие самодостаточное, да еще и увлекательное. Тут же, разумеесть, не окупится, но работа все же не из самых трудных, к тому же имеет место изрядный комфорт, в коем пребывает ум, реализующий себя в непоследовательных стремлениях.

В порядке избывания своего чисто демографического происхождения партия обычно создает собственные мифологию и идеологию. Новая реальность всегда следует образу существующей, обезьянничая в своих структурах. Подобная технология, скрывая недостаток воображения, придает некоторый аромат аутентичности предпринятию в целом. Вот, между прочим, почему столь многие из этих людей восхищены реалистическим искусством. Отсутствие воображения в целом более характерно, нежели его присутствие. Монотонная тупость партийной программы и суконное однообразие ее лидеров притягивают народные массы к ним, как к собственным отражениям. В эпоху перенаселенности зло (равно как и благо) оканчивается такой же посредственностью, как и пребывающие в нем. Надо быть никаким, чтобы стать тираном.

И они невнятные, и жизнь их невнятна. Их усилия вознаграждаются лишь во время карабканья: увидеть соперника обойденным, подавленным, отброшенным. В начале века, в пору расцвета политических партий, имелись добавочные радости: опубликовать, скажем, злободневный памфлет или улизнуть из-под надзора полиции; выступить с зажигательной речью на нелегальном съезде или за партийный счет передохнуть в Швейцарских Альпах или на Французской Ривьере. Теперь это в прошлом — жаркие споры, фальшивые бороды, изучение марксизма. Осталось немного: выжидательная игра вокруг повышений, бесконечная канцелярщина, бумажная служба и подбор надежных сторонников. Ушла даже забота держать язык за зубами, поскольку ничего заслуживающего внимания и прозвучать не может в ваших, в избытке оснащенных микрофонами комнатах.

Чего добился взобравшийся на вершину, так это замедления хода времени, что удобно в смысле, насущном для похоронных бюро: утилизация времени реальна. Даже внутри оппозиции события развиваются медленно; что до правящей партии, то ей спешить некуда, а через полвека господства распределять время она уже способна и сама. Конечно, если говорить об идеалах в викторианском смысле термина, то однопартийная система не слишком отличается от современной версии политического плюрализма. Но вступление в единственную существующую партию все же предполагает более чем среднестатистическую нечистоплотность.

Неважно, ловки ли вы, и будь ваша репутация хоть кристальной, до шестидесяти в Политбюро вам не попасть. В этом возрасте жизнь уже неизменима, и если кто взял в свои руки бразды правления, то кулаки разожмутся лишь чтобы принять похоронную свечу. Шестидесятилетний не склонен к какому-либо политическому или экономическому риску. Он знает, что у него есть лет десять и все его удовольствия связаны с материями прежде всего гастрономическими и технологическими: изысканная диета, импортные сигареты и западные машины. Он человек *status'a quo*, что уместно для внешних связей, учитывая неуклонно растущие запасы ракет, и невыносимо для страны, поскольку не делать ничего означает ухудшить положение внутри нее. И хотя его соперники могут обратить последнее себе на пользу, он предпочтет устранить их, нежели осуществлять какие-либо изменения, ведь всякий ощущает ностальгию по положению вещей, приведшему его к успеху.

Среднее время жизни добротной тирании — полтора десятилетия, в крайнем случае — лет двадцать. Когда она существует долее, то неминуемо вырождается в монстра. И вы можете обнаружить манию величия, утверждающую себя ведением войн либо внутренним террором или тем

и другим сразу. Природа, к счастью, берет свое, вовремя обращаясь к его конкурентам: вовремя — то есть до того, пока сей муж не решил обессмертить себя, осуществив нечто ужасающее. Молодые кадры, которые на самом деле и не такие уж молодые, подпирают снизу, выталкивают его в голубую чистоту беспримесного Хроноса. Потому что, достигнув вершины пирамиды, дальше — только туда. Тем не менее в большинстве случаев природе приходится действовать в одиночку, встречая серьезное сопротивление как со стороны Органов Государственной Безопасности, так и личной врачебной команды тирана. Западное доктора прилетают из-за рубежа, чтобы выудить этого человека из пучин сенильности. Иной раз они преуспевают в своей гуманной миссии (к тому же и их правительства весьма заинтересованы в сохранении положения), и этого довольно, чтобы великий человек снова смог пригрозить смертью соответствующим государствам.

Наконец они сдаются: Органы, возможно, не столь охотно, как медики, поскольку у медиков не так уж все связано с иерархией, которая будет теперь изменена. Но даже Органам в конце концов придется хозяина, пережить которого они намерены в любом случае. И, поскольку телохранители отвернули лица свои, проскальчивает смерть с косой, молотком и серпиком. На следующее утро население пробудит не пунктуальный петушок, но шопеновский *Marche Funèbre*, волнами извергающийся из репродукторов. Будут военные похороны, кони влекут оружейный лафет, перед ними шествует отделение солдат, на маленьких алых подушечках несущих медали и ордена, украшавшие мундир тирана, как грудь призовой собаки. Потому что он и был призовой собакой, победителем бегов. И если, как это часто бывает, граждане оплакивают утрату, то их слезы — это слезы проигравших пари: нация скорбит по своему утраченному времени. И вот появляются члены Политбюро, несущие на плечах задрапированный стягом гроб: единственный их общий знаменатель.

Они несут свой единственный общий знаменатель, камеры жужжат и щелкают, а иноземцы и свои настойчиво вглядываются в непроницаемые лица, пытаясь отличить преемника. Усопший, возможно, был тщеславен настолько, что оставил политическое завещание, но оно, конечно, света не увидит. Решение будет принято тайно, на закрытом — для населения, понятно — заседании Политбюро. На засекреченном, иначе говоря. Секретность — это старая партийная штучка, это ее демографическое происхождение в славном нелегальном прошлом. И лица эти не откроют ничего.

Они осуществляют это тем более успешно, что и скрывать тут нечего. Потому что все будет более чем точно так же. Новый будет отличаться от прежнего лишь физически. Умственно, да и в остальном он ограничен быть точной репликой предшественника. Это, возможно, главный из кроющихся здесь секретов. Поразмыслив над этим, поймем, что партийные замещения наиболее приближают нас к идее Воскресения. Конечно, повторения рождают скуку, но коль скоро повторяются тайные вещи, то место удовольствию все-таки есть.

Самое забавное все же состоит в осознании того, что тираном может сделаться любой из этих людей. Неуверенность и замешательство возникают оттого лишь, что предложение превышает спрос. То есть мы имеем дело не с тиранией индивидуальности, но с тиранией партии, которая попросту перевела производство тиранов на промышленную основу. Что весьма мудро для партии в общем и вполне уместно в частных случаях, учитывая быструю капитуляцию индивидуализма как такового. Иными словами, игра в угадку «кто станет кем» стала теперь романтической и старинной, вроде бильбоке, предаться которой могут позволить себе лишь свободно избираемые люди. Давно прошли времена орлиных профилей, козлиных бород и бород лопатой, усов — зубных щеток или усов моржовых; скоро минует даже время бровей.

Все же есть нечто навязчивое в этих ласковых, мрачных, неразличимых лицах: они выглядят как кто угодно, почти

пахнет подземельем, они схожи как стебли травы. Эта визуальная избыточность придает принципам «народного правительства» дополнительную глубину: быть управляемым никем. Однако, «управляет никто» — более чем вездесущая форма тирании, поскольку никто выглядит как всякий. Они представляют массы не только в чем-то одном, поэтому и не суетятся с выборами. Это, скорее, бесперспективная задача на воображение — представить себе возможный результат выборов по системе «один человек — один голос» для, например, миллиардного Китая: какой бы род парламента эта система могла там породить, и сколько десятков миллионов составило бы меньшинство.

Рост числа политических партий в начале века был первым криком о перенаселенности, и она же — причина их теперешнего процветания. Пока индивидуалисты над ними потешались, они упорствовали в деперсонализации, и индивидуалистам смеяться пора перестать. Тем не менее цель состоит не в триумфе партии как таковой, не в триумфе ее отдельных функционеров. Да, им удалось возглавить свое время, но у времени впереди еще много вещей и, кроме того, много людей. Цель состоит в том, чтобы организовать усвоение их количественной экспансии нерастяжимым миром, и единственный способ достичь этого связан с деперсонализацией и бюрократизацией каждого живущего. Жизнь сама для себя общий знаменатель — что является достаточной предпосылкой для структуризации бытия наиболее детализированным образом.

И тирания осуществляет именно это: структурирует вашу жизнь для вас же. Она осуществляет это методично настолько, насколько вообще возможно и, разумеется, куда более эффективно, нежели в состоянии любая демократия. Кроме того, все происходит ради вашего же блага, ведь любая попытка реализации индивидуальности в толпе может оказаться несущей зло: в первую очередь для самого реализующегося, но надо ведь позаботиться и о стоящих поблизости. Это вот то, для чего и существует управляемая партией страна со всеми ее службами безопасности, общественными институтами, полицией и гражданскими чувствами. Устроений этих все же недостаточно: мечта состоит в том, чтобы сделать каждого бюрократом для себя же. И день, когда она сбудется, вполне уже различим. Потому что бюрократизация индивидуального существования начинается с политизацией мышления и вовсе не завершается приобретением карманного калькулятора.

Поэтому, ежели на похоронах тирана кого-то обуяли элегические чувства, то, по преимуществу, по автобиографическим причинам, поскольку его уход делает ностальгию по «старым добрым временам» еще более конкретной. В конце концов, он тоже человек старой школы, люди которой еще видели разницу между тем, что они говорят, и что они делают. Если он не заслужил более одной строчки в истории — тем лучше: просто не пролил крови своих подданных в количестве, тянущем на параграф. Его возлюбленные были толстухами, и было их немного. Написал он не слишком много, не рисовал и не играл на музыкальных инструментах; он даже не ввел новый стиль мебели. Он был бесхитростным тираном, и все-таки лидеры могущественных демократий страстно стремились пожать его руку. Коротко говоря, он не раскачивал лодку. И мы отчасти благодарны ему за то, что, отворяя утром наше окно, не обнаруживали, что горизонт сделался вертикален.

По роду его деятельности настоящих его мыслей не знал никто. Вполне возможно, что не знал их и он сам. Это вполне годилось бы для неплохой эпитафии, если бы не анекдот, который финны рассказывают о завещании их Пожизненного Президента Урхо Кекконена; завещание начинается так: «Если я умру...»

1980

Перевел с английского
АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ВИКТОР КУЛЛЭ

ОБРЕТШИЙ РЕЧИ ДАР В ГЛУХОНЕМОЙ ВСЕЛЕННОЙ...

(Наброски об эстетике Иосифа Бродского)

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит. Ровны и глуховаты,
затем что жизнь — одна, они из смертных
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа! Поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле — тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Иосиф Бродский (июль 1989 г.)

Поэзию Иосифа Бродского трудно рассматривать как явление современности. Дело не в том, что, будучи пересажен на иную почву, Бродский ныне предстает перед изумленными читателями в одной обойме с мастерами «серебряного века», — скорее, в некоей изначальной ориентации творчества, прослеживающейся уже в юношеских стихах и эстетических набросках. Будучи — исторически — представителем ленинградского варианта «шестидесятников», Бродский с поразительной быстротой избавился от эстрадного вируса, от соблазна всевозможных литературных школ, течений, группировок и пр. Процесс этот, по его собственному признанию, происходил в нем параллельно с преодолением влияния некогда горячо любимого Слуцкого. Почти десятилетний период с момента начала судебной травмы до выезда из Союза он уже пребывал в добровольной самодостаточной изоляции, оказывая — безусловно — влияние на работавших где-то поблизости Кушнера, Соснору, Рейна и др. ленинградцев, но уже — бессознательно — предощущая венец первого в поколении и сопутствующую избранничеству тяжесть отторженности. Вне сомнения, значительную роль в этой установке «на века», отстранении от светских ежесекундных дразг сыграло напутственное слово Ахматовой, предсказавшей совсем еще молодому поэту «большую и трагическую судьбу».

Это раннее ощущение себя, как составляющей общего потока культуры, несло в себе не только установку на сознательную вневременность литературного текста, не только соответствующие критерии самооценки и болезненной, прямо-таки патологической требовательности, но и — самое главное — поразительную для молодого советского человека внутреннюю свободу. Эта абсурдная для окружающей социалистической действительности свобода молодого Бродского, проявляющаяся не только в литературной работе, но и в действии, упоминается практически всеми, знавшими поэта в этот период (см., например, Яков Гордин, «Дело Бродского», «Нева» № 2, 1989 г.) Причем характер этой свободы существенно отличался от скептического пафоса зарождающихся диссидентов, с которыми молодой Бродский некоторое время был близок. Это не была «свобода от», «свобода вопреки» чему-

либо — скорее нормальный ренессансный поиск человека, создающего вокруг себя суверенный мир и никому не передоверяющего привилегии сотворения нравственных императивов.

Сам Бродский в интервью журналу «Voqce» сказал об этом с исчерпывающей полнотой: «Я никогда не считал язык путем к свободе. Правда заключается в том, что я никогда не чувствовал себя несвободным. Я всегда ощущал себя совершенно свободным. Я не рассматривал язык как выход моему отсутствию свободы. Я знал, что я был зол, и я знал, что я был сильным. Я знал, что я всегда был упрямым. Я стремился развить в себе что-то, вероятно, очень маленькое, но очень крепкое, пропорциональное огромному давлению извне.

Я думаю, что это чувство человеческого достоинства, чувство значимости. Но написание стихов не было уходом от действительности... Если я и могу гордиться собой за что-то в русской поэзии, так это за период с 1961 по 1962 год, за одну из моих первых поэм... Я думаю — впервые в России за сорок лет или более того я употребил слово «душа»... И я продолжаю употреблять его. Если однажды вы это сделаете, пути назад не будет...» (см. «Студенческий меридиан» № 10, 1989 г.)

Бродский, как известно, человек верующий. Но вера — прежде всего — связана для него с традициями христианской культуры. Христианство Бродского в значительной степени отличается от российского православия, скорее это некое еретическое сектанство ранних христианских общин, путь к слиянию с Богом через противоборство-сомнение-отрицание-постижение. При этом, как замечает анонимный автор послесловия к «Остановке в пустыне» (1970 г.): «С Богом он ведет себя безукоризненно («Я глуховат. Я, Боже, слеповат...»), однако, по-настоящему своим чувствует себя только по отношению к небесам...»

Присуждение Бродскому Нобелевской премии, «де-юре» поставившее его в положение живого классика, вызвало в России ожесточенную полемику. Оставляя без внимания откровенно вилитературные выпады типа печально известной статьи П. Горелова в «Комсомольской правде» («Итак, «эзопова фея» Иосифа Брод-

ского снова появилась в «отечестве белых головок», как он называет нашу Родину...» и т. п.), можно выделить две наиболее характерные точки зрения. Первая — взлелеб — «Пушкин XX века», великий продолжатель великих традиций российской поэзии; вторая — с трезвой осторожностью — «гениальный перевод с гениального подстрочника» (т. е. безусловно поэзия, но к российской словесности отношения не имеющая).

Мне кажется, что подобная полярность симптоматична — она прямо связана с вопросами мировоззренческими, с двумя разнонаправленными векторами умонастроений интеллигенции; однако — и это печально — имеет только косвенное отношение к собственно эстетическому значению поэзии Бродского. Рассмотрим первую точку зрения.

Бродский, безусловно, стоит в ряду великих реформаторов русского стиха. В этом смысле его влияние на русскую поэзию может быть сопоставимо с влиянием (относительно своего времени) Пушкина и Маяковского. «Видимо, язык истосковался по поэту, который бы раскрыл шлюзы для нарастающих накопленных словаря. В стихах Бродского широко представлены разнообразные арго, газетный и телевизионный язык, деформированные остатки языковой архаики, политический и технический сленг, уличное просторечие, экзотическое ораторство молодежной волнницы» (Евгений Рейн). Подобно Пушкину, с гениальной органичностью освоившему опыт французской литературы, Бродский «привил к древу русской поэзии англо-американскую ветвь, и прежде всего опыт таких замечательных поэтов, как Йейтс, Элиот, Оден». Бродский — наконец — создатель законченной эстетической концепции (о ней ниже), по своей лирической дерзости и внутренней непротиворечивости сопоставимой с построениями Кольриджа и лорда Шейфсбери. Однако...

Еще раз прочитаем в цитату Евгения Рейна: «... раскрыл нарастающие шлюзы словаря...» — т. е. **уловил и выразил**, более того — ввел в литературный язык накопившуюся в запасниках лексическую протоплазму; т. е. — в полном соответствии со своей эстетикой — **шел на поводу** у языка. Пушкин же — момент уникальный, если не единственный в русской словесности — **творил** новый язык; его значение в жизни русского языка несопоставимо ни с кем из самых значительных последователей, ибо он сам выражает собой языковую стихию; его невозможно оценивать — ибо он стал грандиозной метафорой, внутри которой все мы находимся. Бродский же (как и Маяковский) только уловил некоторые структурные сдвиги в этой метафоре, но никоим образом не вышел за ее пределы и — тем паче — не создал новой метафоры... Если уж говорить о том принципиально новом, чем обогатил Бродский российскую поэзию, то это качественно иной тип отношений поэта-творца и языка, автора и литературного текста. Бродский укрепил в поэзии стихотворение — моментальный срез сознания, самоценный в глазах творца и рассчитанный либо на недоуменное отметание читателем, либо — на длительное жвигвание, сотворчество, почти равноправие читателя и текста. Этот беспрецедентный по своей лирической дерзости эксперимент был бы неминуемо обречен на неудачу, если бы не оправдывался уникальностью авторского «я» (в случае Бродского как-то смешно говорить о «лирическом герое»). Прежде всего это поэзия мысли, мысли столь плотной, что можно уподобить стихи Бродского кристаллам, вырастающим в перенасыщенном растворе. Эта метафора не случайна: во-первых, причудливая структура текстов Бродского действительно обладает некоей «кристаллической логикой»; во-вторых, версификационное мастерство Бродского, точность и емкость словоупотребления, чрезвычайно богатая и точная рифмовка, своеобразная «зеркальная» внутренняя рифма, фонетический параллелизм и контрапунктная перенасыщенность фонетики — все это придает стихам Бродского необычайную прочность, прочность, при которой самые причудливые (и — на первый взгляд — необязательные) метафорические сдвиги оказываются органичными и единственно возможными.

Теперь о «гениальном переводе с гениального подстрочника». Нелюбители Бродского, как правило, утверждают, что в его стихах выхолощена самая суть поэзии, тот самый ходасевичевский «метафизический сквозняк», «огонь, мерцающий в сосуде» (Заболоцкий). При этом они единодушны в признании формального совершенства этого «сосуда»; более того — это-то формальное совершенство и вызывает у них наибольшее неприятие, причем неприятие алогичное, зачастую агрессивное. Бродскому ставят в вину, что он, дескать, подменяет духовную насыщенность поэзии синтаксической изощренностью пустой оболочки. На глубинном, онтологическом уровне такая резкая поляризация традиционного спора о «форме и содержании» упирается в характерное для ортодоксального типа мировосприятия деление на «наших — не наших». При этом в раздел «не наших», под прицел критики, попадают не инакомыслящие (то бишь неверующие, а инаковерующие (то бишь еретики). К неверующим можно относиться с жалостью и снисхождением, прощать им любые; самые страшные грехи — еретик же подлежит остракизму, ес-

ли не физическому уничтожению. В универсальности методологического механизма этого процесса проглядывает универсальная леви-строссовская триада: целое порождает две полярности (мужскую и женскую), которые — в свою очередь — порождают цепочки полярных делений, параллельно создавая неустойчивую третью структуру (андрогинную), которую — с момента порождения — стремятся уничтожить. И здесь уже — на смену рассуждениям о кротости и терпимости — приходит слепой инстинкт самосохранения, присущий любой ортодоксальной структуре. Характерно, что «еретики» (та самая третья андрогинная составляющая), являясь структурой гибкой, пассионарной, — напротив, достаточно терпимы. В их цели не входит уничтожение предшествующей ортодоксальной структуры — скорее созидание структуры новой, самим фактом своего существования отрицающей за ненужностью предыдущую. В этой принципиальной терпимости их («еретиков») сознательная и неизбежная обреченность. По сути, это является отражением двух моделей прогресса: линейной и квантованной; мира Евклида и мира Эйнштейна.

Любопытным примером подобной методологии является книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского» («Театр» №№ 7—10, 1989 г.), отмеченная печатью умного таланта и яркой авторской индивидуальности. Будучи исследователем последовательным и честным, Карабчиевский в последней главе книги посвятил несколько страниц поэтам, «испорченным» Маяковским и либо преодолевшим (Пастернак), либо не сумевшим преодолеть его влияния (Цветаева). Наследником и продолжателем поэтики Маяковского в настоящее время Карабчиевский считает Иосифа Бродского.

Претензии, предъявляемые Карабчиевским к Маяковскому (и — как к его продолжению — Бродскому), все те же: отсутствие духовной составляющей (в более привычной терминологии — «боли», «страдания»); насилие над языком. При этом «пустая формальная оболочка» Бродского отличается от «пустой формальной оболочки» Маяковского единственным — «изяществом»; и это-то изящество ставится Бродскому в вину, делает его фигурой даже более демонической, чем Маяковский (имеется в виду тот условный Маяковский, который предлагается нам на страницах книги).

С уважением относюсь к честной попытке автора книги «Воскресение Маяковского» снять «хрестоматийный глянец» с гигантской и противоречивой фигуры Маяковского, признавая необходимость и неизбежность появления в нашем литературоведении такого — чрезвычайно пристрастного и субъективного — взгляда «с другой стороны» — не могу удержаться от нескольких мыслей по поводу. Бросается в глаза дотошность автора; Карабчиевский скрупулезнейшим образом составляет обвинительный акт своему герою, последовательно развенчивая его во всех проявлениях творческой, социальной, интимной жизни и даже в самой смерти. Обвинительный акт, составленный с холодной, неуистической какой-то тщательностью и безжалостностью, заканчивается прямой инвективой (тоже, впрочем, сделанной не без осторожного реверанса), в которой Маяковский уже напрямую именуется агентом Дьявола, заключившим тайный сговор с «низшими силами». Следуя этой логике, Иосиф Бродский, с изяществом и олимпийской бесстрастностью (в отличие от изломанного и как-то по-человечески истеричного Маяковского) продолжающий линию «бездуховного» искусства, — является уже не слугой, а скорее всего одной из — вольных или невольных — ипостасей Дьявола.

Прежде всего хочу заметить, что мы имеем дело с последовательным мироощущением: книга Карабчиевского о Маяковском не могла не привести автора к такой трактовке творчества Бродского. Перед нами тот самый случай слепого неприятия **инаковерующих**, о котором говорилось выше. Характерно, что автор, подвергая Маяковского критике с христианских позиций, выносит приговор с казуистической безжалостностью инквизиционного трибунала, отказывая герою — даже посмертно — в праве на сострадание и понимание. Право, гораздо ближе и как-то человечнее искреннее ходасевичевское «чур меня!» из знаменитого «Некролога» — в нем, по крайней мере, нет претензии на Высший суд, который все-таки должен совершаться на небесах...

И еще одно замечание по поводу: Карабчиевский, вынося приговор Маяковскому, столь тесно переплетает факты личной и творческой биографии, что возникает закономерный вопрос: над кем все-таки свершается суд — над Маяковским-поэтом или над Маяковским-человеком? Согласен, что творчество должно рассматривать в контексте жизни поэта, более того — оно должно быть оплачено этой жизнью; однако жизнь и творчество не есть вещи тождественные — творчество всегда (и прежде всего) попытка самопознания, самоочищения и самооправдания; безнадежная мюнхгаузенская попытка вытащить себя за шиворот из грязи и ужаса собственной жизни. Пользуясь методологией Карабчиевского, можно написать подобную книгу-приговор кому угодно: Пушкину, Достоевскому, Блоку...

Но вернемся собственно к Иосифу Бродскому. Влияние поэти-

ки Маяковского — и прямое, и некогда через Бориса Слуцкого — на творчество Бродского действительно весьма значительно. Бродский сам отмечал в одном из интервью, что у Маяковского он «научился колоссальному количеству вещей». В нашей литературе, однако, есть ряд имен, гораздо более органически связанных с игровой стихией языка, составляющей первооснову поэтики Бродского. Я имею в виду Мандельштама, Платонова и Набокова.

Известно, что Бродский, называя Мандельштама одним из своих учителей в поэзии, признавая в Андрее Платонове гениального русского писателя XX века, в своих эссе и интервью довольно редко и сдержанно упоминает имя Владимира Набокова. Между тем связь набоковской прозы и поэзии Бродского кажется достаточно очевидной и не нуждающейся в пространных обоснованиях. Симптоматично, что одни и те же определенные круги современной критики в настоящее время предъявляют к Бродскому и Набокову одни и те же претензии: уже знакомое нам доминирование эстетического начала над этическим (то бишь пресловутое «нет боли»). Известно также, что публикация романов Набокова сопровождается не менее агрессивным неприятием, нежели стихов Бродского. В чем же причина того, что достаточно аполитичные, не рассчитанные на перестроечную конъюнктуру Бродский и Набоков более нежелательны ортодоксии, нежели захлестнувшая страну лавина свежиспеченных «антисталинских» и даже «антибольшевистских» произведений?

Здесь мы опять упираемся в вопросы онтологические. Дерзну высказать мысль довольно кощунственную: Мандельштам и Платонов, будучи гениальными выразителями игровой стихии русского языка, являлись в то же время носителями **монотенистического мирочувствования**, пусть враждебного, но — в этой своей враждебности — понятного ортодоксии. Набоков и Бродский, являясь на каком-то глубинном отношении к первичной ткани жизни **агностиками** (т. е. еретиками) — ортодоксии попросту непонятны; они настолько лежат в ином измерении, что кажутся абсолютно неуязвимыми. Это-то и вызывает агрессию, в сущности являющуюся слепым инстинктом самосохранения.

Еще одно обвинение, достаточно часто предъявляемое и Маяковскому и Набокову и — соответственно — Бродскому: насилие над языком, в первую очередь насилие синтаксическое. Думается, здесь кроется одна из первопричин яростного неприятия Бродского многими. Это аспект эстетический, т. е. — по-Бродскому — первичный. Дело в том, что эстетика Бродского, являясь в основе своей эстетикой живого саморазвития и самообновления языка, настолько анти-, скорее даже внеортодоксальна, что нынешним ортодоксам (и не менее ортодоксальным «прогрессистам»), так или иначе отпочковавшимся от разлагающейся амебы соцреализма, совершенно неважно, **о чем** пишет Бродский. То, как он это пишет, — самим фактом существования подобной эстетики — ставит под вопрос правомерность их присутствия в нынешней литературе. Я глубоко уверен, что достаточно редкие в текстах Бродского «эпатирующие» фрагменты (типа «Луна, что твой генсек в параличе») обусловлены отнюдь не потребой «злости дня», а нормальной эстетической шалостью свободного человека.

Теперь о «насилии над языком». Тезис, вроде бы достаточно очевидный, что поэт следует судить по тем законам, которые он сам над собой признает, давно бы следовало дополнить маленьким уточнением: судить, исходя из презумпции невиновности. Мне кажется, что лучшей апологией Бродского является его собственная эстетическая концепция, т. е. тот — достаточно суровый и пристрастный — суд, который он сам вершит над всем вышедшим из-под его пера. Эта точка отсчета существует во всех эссе, интервью и публичных высказываниях Бродского, и наиболее разумно предоставить слово ему самому: «Язык порождает поэтов, а не поэты порождают язык. Поскольку существует русский язык, время от времени всегда будет происходить нечто замечательное. Это свойство нашего языка. Что бы ни творилось в стране, она всегда из своих недр что-нибудь замечательное выдаст. Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна». («Известия», 4.XII 1988 г.)

В конце концов стихи Бродского написаны на русском языке. Это — теперь, после того, как целая генерация молодой поэзии подхватила и активно переосмысливает его опыт — неотъемлемая часть опыта русской словесности. То, что язык Бродского — чрезвычайно нетрадиционный — раздражает читателей «чистой традиции», — вполне естественно. Удивительно другое — почему остается незамеченной традиционность, даже некая нарочитая «классичность» поэзии Бродского. Сам он в Нобелевской речи среди непосредственных учителей и предшественников упомянул в первую очередь Мандельштама, Цветаеву и Ахматову. Однако корни поэтики Бродского, думается, гораздо глубже. Он непосредственно обращается к опыту Кантемира и Державина, Тредиаковского, Сумарокова и — особенно — наиболее любимого и почитаемого им Баратынского. Здесь уместно привести обширную цитату из разговора с Томасом Венцлавой, вышедшего вскоре

после прочтения Нобелевской речи и являющегося как бы ее развернутым продолжением («Чувство перспективы», журнал «Страна и мир» № 3, 1989 г.):

«— Какие традиции русской поэзии ты ценишь и какие полагаешь вредными?

— Я вообще ценю ВСЕ традиции русской поэзии...

— Включая Игоря Северянина?

— И Игоря Северянина, и даже верноподданнические стихи Тютчева...

— Крученых?

— Крученых не очень. Но дело в том, что все это компоненты, которые создают некую общую картину. Например, от футуристов мне ничего не надо. Хотя я думаю, что у Маяковского я научился колоссальному количеству вещей. То же самое отчасти, но в меньшей степени, у Хлебникова. У Крученых, по-моему, я ничему не научился, у него ничему научиться и нельзя. Северянин — это меня всегда скорее отталкивало, нежели привлекало. Но он тоже на своем месте, если говорить о двадцатом веке...

— Некрасов?

— Некрасов — нет. Никогда. Это, как бы сказать, запоздалое свидетельство моего душевного здоровья. За исключением поэмы «Мороз, Красный нос»... И вообще, вся ЭТА традиция, вся ЭТА ветвь русской поэзии мне просто не очень интересна. Мне интересен Баратынский, мне интересен Вяземский и то, что выросло из них. Вообще вся русская поэзия до — и включая — Лермонтова...

Здесь характерно — в первую очередь — уважительное отношение к любим — даже чуждым эстетически — составляющим русской поэзии («просто не очень интересна»); и — во-вторых — живое, заинтересованное ощущение себя, как составной части русской поэзии, учеба у мастеров, продолжение и развитие традиции. Несколькими шокирующий прагматический подход к наследию предшественников (научился — не научился) на самом деле попросту является следствием естественной внутрицеховой свободы.

Уже упоминалось, что Бродский является автором самостоятельной эстетической концепции. Эта своеобразная философия языка, наиболее полно обобщенная в Нобелевской речи, «Чувстве перспективы», книге эссе «Меньше, чем единица» — прямо вырастает из конкретной поэтической практики. Бродский не подгоняет свою поэзию под заранее сформулированные построения. В этом его отличие от авторов предшествующих философий языка, в первую очередь — Кольриджа, которого жестокое следование собственной схеме привело к творческому бесплодию. В этом — плодотворность эстетики Бродского.

В молодости, обретаясь в кружке поэтов, названных Ахматовой «аввакумовцами», Бродский сформулировал тезис, которому остался верен на всю жизнь: «писать не фразами, а словами». В те времена этот лозунг, восходящий к опыту Хлебникова и Мандельштама, казался достаточно несуразным, по крайней мере — неосуществимым. Ныне он стал родовой метой целого направления молодой поэзии. Бродский рассматривает слово как феномен. Это закономерная реакция на девальвацию поэтического слова, наметившую уже у футуристов и нашу самую блестящую воплощение в поэзии соцреализма; своеобразная альтернатива оруэлловской «лингвистической революции». Слово у Бродского — это, перефразируя Канта, своеобразное «слово в себе», самостоятельная и самодостаточная метафора, «осколок мифа». В этом смысле Бродский живет в мире, где совершенно равноправны слова и вещи, предметы и понятия о предметах. Внутри каждого слова заключен микрокосм, который каждый читающий волен наполнить суверенным содержанием. Вспомним — у Чуван-цзы — «слова не имеют смысла, они только чреватые смыслом». Бродский — в абсолют — стремится к созданию некой универсальной кристаллической структуры, в которой «частное может быть больше целого» (Будда) и которую не только каждое последующее поколение читателей, но каждый отдельный читатель воспринимает по-новому. Есть в этой титанической — и заведомо недостижимой — цели что-то от дерзновенной попытки Флоренского, успевшего написать лишь главу об архетипе точки, создать универсальный словарь архетипов «Симблярий».

Возвращаясь к равноправию предметов, понятий о предметах и слов, обозначающих эти понятия в стихах Бродского: человек мыслит и пишет стихи отнюдь не на русском (английском, китайском и пр.) языке, а на суверенном языке своего «я», который, в силу того, что он является частью предшествующего опыта человечества, может быть терминологически определен как язык архетипический. В сущности, процесс писания стихов — это процесс перевода с этого личного языка на язык общеупотребительный. Бродскому, стремящемуся сделать этот перевод с максимальной точностью, приходится все чаще работать уже не на уровне слов, а на уровне морфем, фонем, букв (вспомним Хлебникова). Целесообразно привести несколько наугад взятых примеров:

«Сад густ, как тесно набранное «Ж»...»

«Наколов на буквы пером слова...»
«За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое
за подлежащим...»
«О, неизбежность «ы» в написании жизни...»
«Как ты жил эти годы?» — «Как буква «г» в «ого»...»
«... можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы...»
«Ниоткуда с любовью, надцатого марта...»

Цитировать можно до бесконечности. В сущности, Бродский пытается синтетизировать заведомо противостоящие понятия: способность к интуитивному чувствованию (ходасевичевский «метафизический сквозняк») и способность к аналитическому мышлению (то, что сам Бродский характеризовал как «чувство перспективы»). Здесь он, методом от противного, переосмысливает фундаментальные положения «логософии» Кольриджа. У Кольриджа номинативная функция слова обладает универсальным гносеологическим значением: у каждого предмета есть только одно верное имя, и угадать его может лишь ясновидящий учредитель имен, платоновский демиург. Эта концепция восходит к магическим представлениям о слове, тождественном с вещью, через которое — посредством заклятий и заговоров — можно влиять на миропорядок. Волшебная сила слова идет от богов. В скандинавских сагах они первоначально владеют языком. Одну ведому тайны рун; наиболее часто употребляющийся эпитет богов — «сладкоречивый», ибо хорошо говорить — хорошо делать. Сам характер рунических надписей, несущих заведомо вторичную информацию («Я, имярек, умею резать руны»), свидетельствует об уникальном отношении к Слову как к магическому действию, совершая которое, человек становится равновелик богам.

Истоки практически всех философий слова лежат в многовековой традиции толкования сакральных текстов. («Поэт и жрец вначале были едины...» Новалис.) Отсюда — скрупулезное отношение к правильному словоупотреблению. Кольридж, например, распространяет требование «неупоминания всуе» на все слова, т. к. они суть частицы единого Слова, пантенистически тождественного Богу. В своей «логософии» Кольридж вводит сложное противостояние слова-молчания, имеющего двоякую функцию: просвещение, объяснение, и — сокрытие, зашифровка. Это — опять-таки традиция жреческая, т. к. для посвященных, владеющих языком, будет открываться в тех же словах иной, более глубокий смысл, ибо они знают, что сказано не все. А говорить как ни в чем не бывало о тайне — лучший способ не привлечь к ней внимания непосвященных. Так Кольридж приходит к иронии, как к категории равно этической и эстетической.

В отличие от Кольриджа, выводящего свое противостояние слова-молчания из этической наполненности слова, Бродский, живущий в экзистенциальном хаосе XX века, еще в начале своего пути со спокойной убежденностью констатировал, что «путь к философским прозрениям лежит не столько через тезис, сколько через самый язык, из которого удалено все лишнее» (незавершенный отрывок «О стихах Эдуарда Лимонова»). Впоследствии эта мысль вылилась в чеканный тезис Нобелевской речи: «Кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования. Язык же — даже если представить его как некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) — к эстетическому выбору не способен».

Как известно, именно это — глубоко выношенное — положение эстетики Бродского является причиной агрессивного неприятия его поэзии многими. О нигилизме, антиэтичности Бродского приходится слышать довольно часто. Однако означает ли приведенный выше тезис принципиальное отрицание этики вообще? Где и когда Бродский декларировал свободу художника от каких бы то ни было этических норм? Принципиальное отличие эстетики Бродского от предшествующих более ортодоксальных систем в единственном — он произвел рокировку методологического и онтологического аспекта Слова, сделал Слово не синонимом творческого акта («и сказал Господь»), а синонимом самого Творца, скорее даже некоего глобального саморазвития миропорядка. Бродский попросту переосмыслил христианские философии слова, начиная с Аврелия Августина и Фомы Аквинского, и перевернул их так же, как Плотин переосмыслил и перевернул систему Платона. При этом в неприкосновенности осталась нравственная составляющая; более того, сам «переворот» был совершен вокруг этой нравственной составляющей и ради нее. Бродский — человек своего времени, представитель поколения, «которое сумело написать музыку после Аушвица», и его гуманизм уже попросту не может позволить себе ни грамма романтики. В том же раннем отрывке о стихах Лимонова Бродский замечает, что «стилистический прием, сколь бы смел он ни был... никогда не самоцель, но как бы дополнительная иллюстрация высокой степени эмоционального неблагополучия — то есть того материала, который, как правило, и есть

единый хлеб поэзии». Позднее, в «Колыбельной Трескового Мыса», он походя обронит: «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же / одиночество...» Этот путь — от «тоски вообще» к стоическому пониманию «суть вещей» — впрямую смыкается с христианским «экзистенциальным долгом» Камю. Когда Бродский утверждает приоритет искусства над философскими и идеологическими спекуляциями, — он защищает свою альтернативу не только эстетическую, но и этическую. «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категорию добра и зла. В этике не «все дозволено», потому что не «все позволено» в эстетике, потому что набор цветов в спектре ограничен...» — и далее: «Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения». (Нобелевская речь, «Книжное обозрение» № 24, 1988 г.)

В этом стремлении к «лица необщему выражению» — основа гуманизма Бродского, и в соответствии с этим стремлением он формулирует свое понимание нравственной наполненности искусства: «Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно волею или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность...» (Нобелевская речь.)

Этическая концепция Бродского выросла из исторического опыта нашего времени — противостояния разрозненной интеллигенции чудовищному молоху тоталитарной иерархии. Обладая «чувством перспективы, то бишь интеллектуальной трезвости», Бродский не становится ни на путь борьбы с иерархией, ни на путь компромисса. Он — художник и человек — просто пытается отстоять свое суверенное «я», в полном соответствии с понятием экзистенциального долга. При этом он отнюдь не собирается покидать поле боя или уходить в другое измерение, в другую иерархию, ибо любая иерархия (в том числе и религиозная) рано или поздно начинает требовать крови. «И в русском православии, и в римском католицизме человека судит Всевышний или Его церковь. В протестантстве человек сам творит над собой подобие Страшного Суда, и в ходе этого суда он к себе куда более беспощаден, чем Господь или даже церковь... Ибо быть писателем неизбежно означает быть протестантом или, по крайней мере, пользоваться протестантской концепцией человека... В литературе святость сама по себе не слишком ценится: потому-то старец у Достоевского и смердит». (Эссе «О Достоевском», альманах «Руссика-81», изд. «Синтаксис».)

Мироощущение Бродского трагично. Трагично в изначально понимании этого слова — ощущении неотвратимости рока. Отсюда — постоянные отсылы к античности, Риму, Империи; отсюда — подвиднический стоицизм, являющийся — по мнению Бродского — единственно возможным способом существования художника: «Я думаю, что поэту политическая свобода или ее отсутствие не особенно важны, в той мере, в какой отсутствие свободы не угрожает его физическому существованию. Парадокс рабства — применительно к литературе — состоит в том, что она избавляет индивидуума относиться всеерьез к окружающей действительности». («Чувство перспективы») Упоминая в Нобелевской речи, что «в современной трагедии гибнет не герой — гибнет хор», Бродский не только ошущает себя хористом, который — неизбежно — должен погибнуть, но распространяет понятие «герой» на каждого из статистов хора.

В одном из интервью Бродский сказал, что всю жизнь «ощущал себя исчадием ада». Это — неизбежная плата за гордыню творчества, и Бродский шел на это осознанно: «Всякое творчество начинается как индивидуальное стремление к самоусовершенствованию и, в идеале, к святости. Рано или поздно пишущий обнаруживает, что его перо достигло гораздо больших результатов, нежели душа... Но даже если эта раздвоенность не приводит к физической гибели автора... именно из нее рождается писатель, видящий свою задачу в сокращении дистанции между пером и душой... И это не стремление к Истине. Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее, нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это сила, имя которой — всеядная прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя». «От всего человека остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи».



ИЗ ЦЫКЛА ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ.

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

